



КАРЛ МАРКС

ИСТОРИЯ
ЖИЗНИ

Ф Р А Н Ц М Е Р И Н Г

Франц Меринг

Карл Маркс. История жизни

«Центрполиграф»

1918

УДК 327.323
ББК 66.61(0)

Меринг Ф.

Карл Маркс. История жизни / Ф. Меринг — «Центрполиграф»,
1918

ISBN 978-5-227-10145-7

В одном из крупных научных трудов Франца Меринга, первого научного биографа К. Маркса и видного деятеля германского и международного рабочего движения, дана биография основоположника коммунистического движения Карла Маркса и изложена история его разработки совместно с соратником и другом Ф. Энгельсом пролетарского мировоззрения. В книге нашла отражение и история создания и деятельности I Интернационала, вдохновителем и идейным руководителем которого был Маркс. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 327.323

ББК 66.61(0)

ISBN 978-5-227-10145-7

© Меринг Ф., 1918
© Центрполиграф, 1918

Содержание

Предисловие	6
Глава 1. Юность	8
Дома и в школе	8
Женни фон Вестфален	11
Глава 2. Ученик Гегеля	14
Первый год в Берлине	14
Младогегельянцы	18
Философия самосознания	22
Докторская диссертация	25
«Анекдоты» и «Рейнская газета»	29
Рейнский ландтаг	32
Пять месяцев борьбы	36
Людвиг Фейербах	42
Женитьба и изгнание	44
Глава 3. Парижское изгнание	46
«Немецко-французские ежегодники»	46
Философские перспективы	51
О еврейском вопросе	54
Французская культура	58
«Форвертс» и высылка	62
Глава 4. Фридрих Энгельс	68
Контора и казарма	68
Английская культура	72
«Святое семейство»	75
Обоснование социализма	80
Глава 5. Брюссельское изгнание	83
Немецкая идеология	83
«Истинный» социализм	86
Вейтлинг и Прудон	90
Исторический материализм	94
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Франц Меринг
Карл Маркс. История жизни

© Перевод, «Центрполиграф», 2022

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2022

Предисловие

Эта книга имеет свою небольшую историю. Когда зашла речь об издании переписки Маркса с Энгельсом, госпожа Лаура Лафарг обусловила свое согласие, поскольку оно было необходимо, тем, чтобы в редактировании переписки принял участие я, как ее доверенное лицо; в формальной доверенности, выданной на мое имя в Дравейле 10 ноября 1910 г., она поручила мне сделать все примечания, разъяснения и сокращения, какие я сочту необходимыми.

Фактически мне, однако, не пришлось использовать этих полномочий. Между издателями, или, вернее, издателем, Бернштейном – так как Бебель дал только свое имя, – и мною не возникало сколько-нибудь существенных разногласий; тормозить же его работу без особой надобности я, разумеется, не имел ни повода, ни права, ни охоты – да это и не соответствовало бы духу поручения, возложенного на меня моей доверительницей.

Но во время долгой работы над этой перепиской для меня более полно и выпукло обрисовался образ Карла Маркса, сложившийся в моем сознании на основе многолетнего изучения, и у меня невольно возникло желание дать этому образу биографическую рамку; я знал к тому же, что это чрезвычайно обрадует госпожу Лафарг. Я приобрел ее доверие и дружбу, и среди последователей своего отца она считала меня не то чтобы самым умным или ученым, но тем, кто всех глубже понял его как человека и всех вернее умел изображать его с этой стороны. Не раз, и письменно, и устно, она уверяла меня, что многие полузабытые воспоминания о жизни в родительском доме оживали в ней только благодаря описаниям этой жизни в моей истории партии, и особенно в моем издании посмертных работ Маркса, и многие имена, часто слышанные ею от родителей, лишь благодаря мне облекались плотью и кровью.

К сожалению, эта благородная женщина умерла гораздо раньше, чем удалось издать переписку ее отца с Энгельсом. За несколько часов до того, как наложить на себя руки, она послала мне дружеский привет. Она унаследовала великий дух своего отца, и я вечно буду ей благодарен за то, что она доверила мне для издания многие сокровища из оставленного им литературного наследия, не сделав при этом ни малейшей попытки повлиять на свободу моих суждений. Так, я получил от нее письма Лассалья к Марксу, хотя из моей истории партии она знала, как часто и решительно я отстаивал правоту Лассалья в споре с ее отцом.

Ни тени благородства, присущего этой женщине, не обнаружили два сионских стража марксизма. Когда я приступил к осуществлению своего замысла – написать биографию Маркса, они пришли в добродетельное негодование, так как в «Нойе цайт» я позволил себе высказать несколько замечаний об отношении к Марксу Лассалья и Бакунина, не считаясь при этом с официальной легендой партии. К. Каутский обвинил меня во «вражде к Марксу» вообще и в «злоупотреблении доверием» по отношению к госпоже Лафарг в частности. А так как я все же упорствовал в своем намерении писать биографию Маркса, из драгоценного места на полосах «Нойе цайт» уделено было ни более ни менее как целых шестьдесят страниц памфлету, в котором Н. Рязанов пытался уличить меня в постыднейшем предательстве по отношению к Марксу; он осыпал меня при этом обвинениями, недобросовестность которых может сравниться разве только с их бессмысленностью. Я оставил последнее слово за этими господами под влиянием чувства, которое, из вежливости, не назову надлежащим именем; но долг перед самим собой обязывает меня заявить, что я не сделал ни малейшей уступки их партийному терроризму. Я обрисовал в моей книге отношения Лассалья и Бакунина к Марксу согласно требованиям исторической правды и совершенно не считаясь с партийной легендой. При этом я, конечно, опять воздержался от всякой полемики, но в примечаниях несколько вышутил главные обвинения Каутского и Рязанова в назидание и на пользу более молодым работникам в этой области, ибо

следует как можно раньше привить им полное равнодушие к нападкам попов марксистского прихода.

Если бы Маркс был в действительности тем скучным примерным мальчиком, каким восторженно изображают его попы марксистского прихода, я не увлекся бы мыслью написать его биографию. Мое восхищение, как и моя критика – а для хорошей биографии необходимо в равной мере и то и другое – относятся к великому человеку, который всего чаще и охотнее говорил о себе, что ничто человеческое ему не чуждо. Воссоздать образ Маркса во всем его мощном суровом величии – вот задача, которую я ставил себе.

Цель сама собой определяла и путь к ее достижению. История – всегда одновременно и искусство и наука, и это в особенности применимо к жизнеописаниям. Не помню, какой ученый сухарь додумался до поразительной мысли, что в области исторической науки эстетические взгляды неуместны. Но я должен, быть может, и к стыду моему, откровенно признаться, что даже буржуазию не так глубоко ненавижу, как тех строгих мыслителей, которые, норовя кольнуть старика Вольтера, заявляют, что скучная манера писать – единственно допустимая. Сам Маркс был в этом смысле тоже на дурном счету: вместе с древними греками он причислял Клио к девяти музам. На деле муз презирает лишь тот, кем они сами пренебрегли.

Предполагая, что читатель одобрит избранную мной форму, я тем более должен просить его о снисхождении к содержанию. Я вынужден был считаться с неумолимой необходимостью не слишком перегружать книгу. Нужно было сделать ее доступной и понятной хотя бы для развитых рабочих; а она и без того разрослась в полтора раза больше первоначально предполагавшегося объема. Как часто приходилось мне поэтому довольствоваться одним словом там, где хотелось написать строчку, строкой вместо страницы и страницей вместо листа! В особенности пострадал от этого разбор научных произведений Маркса. Для того чтоб заранее устранить всякие недоразумения, я вычеркнул из обычного подзаголовка биографии великого писателя *«История его жизни и его сочинений»* вторую половину.

Несравненное величие Маркса обуславливается в значительной степени, конечно, тем, что в нем неразрывно слиты человек мысли и человек дела, взаимно дополняя и поддерживая один другого. Но столь же несомненно и то, что борец всегда брал в нем перевес над мыслителем. В этом отношении все наши великие пионеры мыслили одинаково: Лассаль сказал однажды, что охотно оставил бы ненаписанным то, что знал, лишь бы наступил наконец час непосредственного дела. И они были глубоко правы, как мы с ужасом убедились в наши дни; мы видим, что серьезные исследователи, по три – по четыре десятка лет высиживавшие каждую запятую в сочинениях Маркса, теперь, в тот исторический момент, когда они могли бы и должны были бы действовать, как Маркс, на самом деле лишь вертятся вокруг своей оси, подобно скрипучим флюгерам.

Не скрою, однако, что я не чувствовал себя более, чем другие, призванным обозреть до предельных границ колоссальную область знаний, которыми владел Маркс. Даже для того, чтобы дать в узких рамках моего изображения вполне ясное изложение второго и третьего тома *«Капитала»*, я призвал на помощь моего друга Розу Люксембург. Читатели будут не менее меня признательны ей за готовность, с какой она пошла навстречу моему желанию; третий отдел двенадцатой главы составлен ею.

Я счастлив, что украсил мою книгу произведением ее пера. И не менее счастлив, что наш общий друг Клара Цеткин-Цундель разрешила мне выпустить мой кораблик в открытое море под ее флагом. Дружба этих двух женщин была для меня неоценимым утешением в годину, когда стольких «стойких и доблестных» передовых борцов социализма умчало бурей, как сухие листья, гонимые осенним ветром.

Франц Меринг

Штеглиц – Берлин, март 1918 г.

Глава 1. Юность

Дома и в школе

Карл Гейнрих Маркс родился 5 мая 1818 г. в Трире. Родословная его мало известна вследствие путаницы в сословных списках, вызванной военным положением в рейнских провинциях в начале XIX в. Ведь и по сей час спорят о том, в каком году родился Генрих Гейне.

Относительно Маркса дело обстоит не так плохо, ибо он родился в более спокойное время. Но все же когда, пятьдесят лет тому назад, умерла одна из сестер его отца и оставила завещание, которое было признано недействительным, суду при розыске законных наследников по праву родства уже не удалось установить в точности день рождения и смерти ее родителей, следовательно, деда и бабушки Карла Маркса. Фамилия его деда была Маркс Леви, но потом он стал именоваться просто Марксом и был раввином в Трире; он умер, по-видимому, в 1763 г.; в 1810 г. его, во всяком случае, уже не было в живых. Его жена, Ева, урожденная Мозес, в 1810 г. была еще жива и скончалась, как утверждают, в 1825 г.

Из многочисленных детей, рожденных от этого брака, двое, Гиршель и Самуил, посвятили себя ученым профессиям. Самуил унаследовал после смерти отца должность раввина в Трире; сын его, Мозес, в качестве кандидата на пост раввина попал в Глейвиц в Силезии. Самуил родился в 1781 г. и умер в 1829 г. Гиршель, отец Карла Маркса, родился в 1782 г. Он занялся изучением права, был адвокатом, затем советником юстиции в Трире; в 1824 г. крестился, приняв имя Гейнрих Маркс, и скончался в 1838 г. Он был женат на Генриетте Пресбург, голландской еврейке; в роду у нее, по сведениям ее внучки Элеоноры Маркс, были длинные поколения раввинов. Она умерла в 1863 г. Они оставили после себя многочисленное потомство, но ко времени ввода в наследство – из бумаг этого дела мы и почерпнули генеалогические данные о семье Маркса – из детей оставались в живых всего лишь четверо: Карл Маркс и три дочери – София, вдова стряпчего Шмальгаузена в Мастрихте, Эмилия – замужем за инженером Конради в Трире и Луиза – жена купца Юта в Канштадте.

Брак родителей был на редкость счастливый, и благодаря этому юность Карла Маркса, как и его старшей сестры – Софии, протекала весело и беззаботно. «Блестящие природные дарования» Карла будили у отца надежду, что со временем они послужат на благо человечеству, а мать называла сына счастливчиком, которому все удастся, за что бы он ни взялся. Однако Карл Маркс не вырос под исключительным влиянием ни матери, как Гёте, ни отца, как Шиллер и Лессинг. Мать его, хотя и окружавшая нежной заботой мужа и детей, всецело была занята домашними делами; она до конца жизни не научилась даже правильно говорить по-немецки и не принимала никакого участия в духовной борьбе своего сына – только иногда, по-матерински, сокрушалась о своем Карле, думая о том, чего бы он достиг, если бы пошел надлежащей дорогой.

В позднейшие годы Карл Маркс, по-видимому, сблизился со своими голландскими родственниками по материнской линии, в особенности с одним из дядей, Филиппом; он неоднократно отзывался с большой симпатией об этом «славном старике», который оказывал ему и материальную помощь в трудные минуты жизни.

Но и отец Маркса взирал уже порою с тайным страхом на «демона» в душе любимца сына, хотя и умер вскоре после того, как Карлу исполнилось двадцать лет. Его мучили не мелкие заботы и тревоги матери-наседки, мечтавшей об удачной карьере для сына, а смутный страх перед гранитной твердостью характера Карла, чуждой его собственной мягкой душе. Еврей, уроженец рейнских провинций, юрист, казалось бы, он был трижды забронирован от всех соблазнов юнкерства восточного берега Эльбы; однако Гейнрих Маркс был прусским пат-

риотом не в пошлом смысле, какой теперь имеет это слово, а прусским патриотом старой закалки, каким старейшие из нас еще звали Вальдека и Циглера: он был насквозь пропитан буржуазной культурой, искренно верил в просветительные реформы в духе старого Фрица, словом, был одним из тех «идеологов», которых не без основания ненавидел Наполеон. И то, что Наполеон называл «идеологическими бреднями», разжигало ненависть отца Маркса к завоевателю, хотя последний даровал рейнским евреям гражданское равноправие, а рейнским землям кодекс Наполеона, их ревниво охраняемое сокровище, на которое непрерывно посягала старопрусская реакция.

Вера Гейнриха Маркса в «гений» прусской монархии не была поколеблена и тем, что прусское правительство, по-видимому, вынудило его переменить религию ради службы. Это неоднократно утверждали даже лица, в общем осведомленные, и, по-видимому, с целью оправдать или хотя бы извинить то, что не нуждается ни в извинении, ни в оправдании. Даже с чисто религиозной точки зрения человеку, который вместе с Локком, Лейбницем и Лессингом исповедовал «чистую веру в Бога», нечего было делать в синагоге; он скорее мог обрести себе приют под сенью прусской господствующей церкви, ибо в ней в то время царил весьма терпимый рационализм, так называемая религия разума, что отразилось и на прусском цензурном законе 1819 г.

Но отречение от еврейства при тогдашних обстоятельствах было актом не только религиозной, но и – главным образом – общественной эмансипации. В великой умственной работе наших лучших мыслителей и поэтов еврейство не принимало участия; скромный светоч Моисея Мендельсона тщетно силился осветить своему «народу» путь в область немецкой духовной жизни. Как раз в те годы, когда Гейнрих Маркс принял христианство, в Берлине образовался кружок еврейской молодежи, которая пошла по стопам Мендельсона, и попытки ее тоже кончились неудачей, хотя среди этой молодежи были такие люди, как Эдуард Ганс и Генрих Гейне. Ганс, рулевой этого небольшого судна, первый спустил флаг и принял христианство; Гейне, правда, послал ему вслед суровое проклятие – «Еще вчера ты был герой, сегодня – негодяй», однако и сам вскоре был вынужден заплатить ту же цену за «входной билет в европейскую культуру». Оба сыграли историческую роль в творчестве германского духа своего столетия; имена же их прежних товарищей, сохранивших верность еврейству, давно забыты.

И потому в течение многих десятков лет переход в христианство был культурным шагом для свободомыслящих в еврействе. Именно в таком, а не ином смысле следует понимать крещение Гейнриха Маркса и его семьи в 1824 г. Возможно, впрочем, что и некоторые внешние обстоятельства обусловили собой если не самый переход, то время, когда он свершился. Скупка евреями поместий и земель, чрезвычайно усилившаяся в двадцатых годах, в период кризиса в сельском хозяйстве, вызвала в рейнских провинциях большую ненависть к евреям. Человек столь безупречной честности, как старый Маркс, не только не считал своим долгом подвергаться этой ненависти, но даже полагал, что не имеет на это права из-за своих детей. А может быть, тут сыграла роль и смерть его матери; она умерла как раз в это время и освободила его от сыновнего долга по отношению к родителям. Кроме того, в том году, когда Маркс перешел в христианство, старший сын его достиг школьного возраста, что тоже, вероятно, повлияло на его решение.

Так или иначе, нет сомнения, что Гейнрих Маркс воспитал в себе внутреннюю свободу, освободившую его от всех уз еврейства, и эту свободу он оставил в наследие – очень ценное – своему Карлу. В письмах его к сыну-студенту, довольно многочисленных, нет и следа особенностей – или недостатков – еврейского характера; письма по-старомодному сентиментальны и пространны и написаны в стиле XVIII в., со свойственной тогда истинным немцам мечтательностью в любви и бурностью в гневе. Далекий от мещанской узости взглядов, отец охотно касается в письмах умственных интересов сына и восстает решительно – и вполне основательно – только против его влечения сделаться «заурядным рифмоплетом». Тешась мечтами о буду-

щем своего Карла, старик «с побелевшими волосами и несколько подавленным духом» не мог, конечно, не задавать себе порой вопроса, соответствует ли сердце Карла его голове, присущи ли ему земные, но более нежные чувства, которые приносят столько утешения в этой юдоли скорби.

Со своей точки зрения, он имел право сомневаться в этом: истинная любовь, которую он «лелеял к сыну в глубинах сердца», делала его не слепым, а ясновидящим. Но человеку не дано предвидеть конечных результатов своих действий, и Гейнрих Маркс не думал и не мог предположить, что сам он, богато наделив сына наследием буржуазного воспитания, развязывал крылья «демону», относительно которого сомневался, «небесного» ли он или же «фаустовского» происхождения. Карл Маркс шутя преодолел уже в отцовском доме много того, что стоило Лассалю или Гейне первых и тягчайших жизненных битв, раны от которых у обоих не зарубцевались полностью за всю жизнь.

Труднее выяснить, что дала подраставшему Марксу школа. Карл Маркс никогда не упоминал впоследствии ни об одном из своих школьных товарищей, и ни об одном из них не сохранилось сведений. Гимназию он кончил рано в своем родном городе; его выпускное свидетельство помечено 25 августа 1835 г. Как водится, оно напутствует даровитого юношу благословением и добрыми пожеланиями и содержит шаблонные отзывы об его успехах в отдельных отраслях знания. Все же в школьном свидетельстве особо отмечено, что Карл Маркс хорошо переводил и объяснял труднейшие места в древних классиках, притом такие, где трудность заключается не столько в своеобразности языка, сколько в содержании и логической связи мыслей; его латинское сочинение обнаружило, по существу, богатство мысли и глубокое проникновение в сущность предмета, но было перегружено не относящимися к делу замечаниями.

На экзаменах у него не ладилось дело с законом Божиим и отчасти с историей. Зато в немецком сочинении он высказал мысль, которая показалась «интересной» и экзаменаторам, а нам должна казаться еще интереснее. Заданной темой были «размышления юноши о выборе жизненного призвания». Отзыв экзаменаторов гласил, что работа Карла Маркса обращает на себя внимание богатством мыслей и хорошим, планомерным распределением материала, но что автор снова проявляет присущий ему недостаток – чрезмерное стремление к изысканности, образности выражений. Затем дословно приведена одна фраза: «Мы не всегда можем достигнуть положения, к которому считаем себя призванными: наши отношения к обществу в известной степени начались раньше, чем мы сами могли определить их». Так уже в детском уме Маркса мелькнула зарница мысль, всестороннее развитие которой составляет бессмертную заслугу его зрелых лет.

Женни фон Вестфален

Осенью 1835 г. Карл Маркс поступил в Боннский университет, где в первый год как будто не столько изучал юридические науки, сколько просто жил «для университетских занятий».

Непосредственных сведений о боннском периоде не имеется, но, поскольку это время отразилось в письмах отца Маркса, молодость, по-видимому, брала свое. О «безрассудствах» и «беспутстве» отец писал позднее и под сердитую руку; тогда же он только жаловался, что сын присылает ему счета «а-ля Карл», без связи и без подведенного итога; счета, впрочем, и позже не сходились у этого классического теоретика денежного обращения.

По истечении первого веселого года в Бонне Маркс, в благословенном возрасте – восемнадцати лет, сделался женихом своей подруги детских игр, близкой приятельницы его старшей сестры Софии, которая содействовала союзу юных сердец. Помолвка Маркса казалась тоже сумасбродной студенческой выходкой, но была на самом деле первая и самая прекрасная победа, одержанная прирожденным властителем душ. Отец Маркса находил вначале победу сына совершенно «непонятной» и лишь тогда уразумел ее, когда открыл, что и в невесте Карла есть «нечто гениальное» и что она способна приносить жертвы, не в пример заурядным девушкам.

Женни фон Вестфален отличалась, действительно, не только редкой красотой, но и выдающимся умом и характером. Она была на четыре года старше Карла Маркса, но все же ей было немногим более двадцати лет; она была в полном расцвете юной красоты, ее окружали поклонники, и, как дочери высокопоставленного чиновника, ей обеспечена была блестящая партия. И всем этим она пожертвовала, как выражался старик Маркс, ради «неверного и полного опасностей будущего». Ему даже казалось, что в ее душе живет страх и тревога, и это его беспокоило. Все же он говорил про нее, что она «ангел, а не девушка», «чаровница», и глубоко верил в нее. Он клялся сыну, что она не променяет его ни на какого князя.

Будущее оказалось на деле еще более неверным и опасным, чем рисовалось Гейнриху Марксу в минуты самых тяжелых предчувствий; однако Женни фон Вестфален, сияющая детской прелестью на своем юношеском портрете, с непоколебимым героическим мужеством хранила верность своему избраннику среди самых тяжких жизненных страданий. В заурядном смысле слова она, может быть, и не облегчала ему тяжелого бремени жизни, ибо была избалована с детства и не всегда умела справляться с мелкими житейскими невзгодами, как справилась бы на ее месте закаленная пролетарка; но в своем более высоком понимании задачи его жизни она стала достойной подругой своему мужу. Все ее письма, сколько их сохранилось, дышат чистой женственностью; это была натура в духе Гёте, одинаково искренняя и правдивая во всех своих душевных проявлениях, от очаровательной разговорчивости в минуты хорошего настроения до трагической скорби Ниобеи, когда нужда отняла у нее ребенка и она не имела средств даже на скромную могилу для него. Красота Женни была гордостью ее мужа, и после того, как они прожили вместе почти целый человеческий век, он писал ей в 1863 г. из Трира, куда ездил на похороны своей матери: «Ежедневно хожу на богомолье в старый вестфаленский дом (на Римской улице); он меня интересует больше всех римских древностей, вместе взятых, ибо напоминает мне счастливые времена молодости, когда хранил в себе лучшее мое сокровище... Ежедневно меня со всех сторон спрашивают, как поживает бывшая здешняя «первая красавица» и «царица балов». Для мужчины дьявольски лестно, что жена его продолжает жить «заколдованной принцессой» в воображении целого города». И на смертном одре этот человек, абсолютно чуждый сентиментальности, с потрясающей скорбью говорил о лучшей части своей жизни, заключенной для него в этой женщине.

Молодые люди обручились, не спросив родителей невесты, что немало смущало совестливого Гейнриха Маркса. Но совсем скоро последовало и согласие Вестфаленов. Тайный совет-

ник Людвиг фон Вестфален, несмотря на свое имя и звание, не принадлежал ни к восточно-эльбскому юнкерству, ни к старопрусской бюрократии. Отец его, Филипп Вестфален, был одной из самых выдающихся фигур германской военной истории. Он состоял личным секретарем по гражданским делам при великом герцоге Фердинанде Брауншвейгском, который во время Семилетней войны командовал сборной армией самого пестрого состава, нанятой на английские деньги, и успешно защищал Западную Германию от завоевательных аппетитов Людовика XV и маркизы Помпадур. Назло всем немецким и английским генералам Филипп Вестфален добился того, что стал во главе генерального штаба герцога и так выдвинулся своими заслугами, что английский король хотел назначить его генерал-адъютантом армии. Вестфален, однако, отклонил это предложение. Он лишь настолько смирил свой упрямый бюргерский дух, что согласился принять пожалованное ему дворянство, но и то исключительно из тех же соображений, которые вынудили Гердера и Шиллера пойти на такое унижение: чтобы иметь возможность жениться на любимой девушке – дочери шотландского барона; она гостила в лагере герцога Фердинанда у сестры, жены командовавшего английским вспомогательным отрядом.

Сыном этой четы был Людвиг фон Вестфален. Если он унаследовал историческое имя от отца, то имена предков его матери тоже будили великие исторические воспоминания: один из этих предков по прямой восходящей линии был сожжен на костре в борьбе за реформацию в Шотландии; другой, граф Арчибальд Аргайль, был обезглавлен как бунтовщик на рыночной площади в Эдинбурге, во время освободительной борьбы против Иакова II. Подобные семейные традиции сами по себе выводили Людвиг фон Вестфалена из узкого круга обнищавшего юнкерства и кичливой бюрократии. Вначале он служил герцогу Брауншвейгскому и не задумался продолжать службу, когда это маленькое герцогство было превращено Наполеоном в королевство Вестфалию; он, очевидно, менее дорожил службой у прирожденных Вельфов, чем реформами, которыми завоеватели-французы пытались исцелить язвы его родины. Но и по отношению к новым иноземным властителям он держался не менее недружелюбно и в 1812 г. изведal на себе тяжелую руку маршала Даву. Затем он служил ландратом в Зальцведеле, где у него 12 февраля 1814 г. родилась дочь Женни, а два года спустя был переведен в качестве правительственного советника в Трир; усердствуя на первых порах, прусский государственный канцлер Гарденберг помнил, что во вновь приобретенные рейнские провинции, сердцем еще приверженные к Франции, следует сажать дельных работников, чуждых юнкерского чванства.

Карл Маркс отзывался всю жизнь об этом человеке с большой признательностью и сердечностью, и не только потому, что был женат на его дочери; он называл его «дорогим другом, заменившим ему отца» и уверял его в своей «сыновьей любви». Вестфален декламировал, от первой до последней строчки, целые песни «Илиады», знал наизусть большую часть драм Шекспира как по-немецки, так и по-английски; в «старом вестфаленском доме» Карл Маркс находил духовную пищу, которой не мог дать ему родительский дом и еще менее того школа. Сам он был с давних пор любимцем старика Вестфалена, который, может быть, и потому еще легко дал согласие на помолвку, что помнил о счастливом браке собственных родителей; в глазах общества девушка из стародворянского баронского рода тоже сделала неподходящую партию, выйдя замуж за личного секретаря, бедняка, и притом не дворянина.

Старший сын Людвиг фон Вестфалена отнюдь не унаследовал высоких душевных качеств отца. Он был типичный бюрократ, карьерист и хуже того: в эпоху реакции пятидесятих годов, занимая пост прусского министра внутренних дел, он был выразителем феодальных поползновений самого закостенелого провинциального юнкерства; в этом направлении он боролся даже с министром-президентом Майтенфелем, который все же был умным и хитрым бюрократом. С сестрой Женни Фердинанд фон Вестфален не поддерживал близких отношений, тем более что приходился ей только сводным братом от первого брака ее отца.

Истинным ее братом был Эдгар фон Вестфален, который по своим убеждениям был левее отца, как Фердинанд правее. Ему приходилось подписывать коммунистические воззвания своего шурина. Он не сделался, однако, постоянным товарищем Карла Маркса, так как перекочевал за океан, испытал там много превратностей судьбы, возвращался и снова уезжал, появлялся неожиданно в разных местах и вообще, судя по всему, что о нем рассказывают, не уживался в рамках размеренной обыденности. Но сестре своей Женни и ее мужу Карлу Марксу он был верным другом, горячо любил их, и своего первенца сына они называли его именем.

Глава 2. Ученик Гегеля

Первый год в Берлине

Еще до помолвки Карла Маркса отец его решил, что свои научные занятия Карл будет продолжать в Берлине: сохранилась официальная бумага, помеченная 1 июля 1836 г., в которой Гейнрих Маркс не только разрешает, но и выражает желание, чтобы сын его Карл перешел на ближайший семестр в Берлинский университет и слушал там начатый в Бонне курс юридических и государственных наук.

Помолвка Карла скорее укрепила, чем поколебала это решение старика Маркса: он был человек осмотрительный, и так как свадьба отложена была надолго, то считал более благоразумным держать влюбленных подальше друг от друга. Быть может, он выбрал Берлин из прусского патриотизма и еще потому, что Берлинский университет не знал разгульной жизни старого студенчества, которую Карл Маркс, по мнению заботливого отца, достаточно изведal в Бонне. «В сравнении со здешним рабочим домом другие университеты – сущие кабаки», – говорил Людвиг Фейербах.

Во всяком случае, юный студент не сам выбрал Берлин для продолжения университетских занятий. Карл Маркс любил тот солнечный край, где родился, а прусская столица была ему противна всю жизнь. И менее всего могла привлечь его туда философия Гегеля, которая еще более неограниченно господствовала в Берлинском университете после смерти своего основателя, чем при его жизни; Гегель был ему совершенно чужд. К этому присоединялась еще разлука с любимой девушкой и дальность расстояния. Правда, он обещал, что удовольствуется ее согласием выйти за него впоследствии замуж, а пока воздержится от всяких внешних проявлений своих чувств. Но клятвы вообще писаны на воде, а клятвы влюбленных в особенности: Маркс рассказывал впоследствии своим детям, что в любви к их матери он был в те годы подлинно неистовым Роландом и его юный пыл не знал покоя, пока он не добился разрешения переписываться с невестой.

Однако первое письмо от нее он получил только через год после приезда в Берлин, и об этом годе мы имеем, в некоторых отношениях, более точные и подробные сведения, чем о каком бы то ни было из более ранних или более поздних годов жизни Маркса. Сведения эти сообщил о себе сам Маркс в пространном письме, которое написал родителям 10 ноября 1837 г., чтобы «в конце прожитого здесь года дать им представление о том, как этот год был проведен». В этом замечательном документе юноша обнаруживает уже все свойства своей зрелой поры, когда он боролся за истину до полного истощения душевных и телесных сил: свою ненасытную жажду знания, свою неиссякаемую энергию, беспощадную самокритику и тот воинственный дух, который лишь заглушал голос сердца, когда казалось, что чувство заблуждается.

22 октября 1836 г. Карл Маркс был внесен в списки студентов. Но лекции его, по-видимому, мало интересовали: в течение девяти семестров он записался не более чем на двенадцать курсов, главным образом обязательных, по юридическим наукам, да из них, надо полагать, слушал немногие. Из официальных преподавателей, пожалуй, только один Эдуард Ганс имел некоторое влияние на умственное развитие Карла Маркса. У Ганса он прослушал уголовное и прусское государственное право, и сам Ганс засвидетельствовал «исключительное прилежание», с которым Маркс посещал его лекции. Убедительнее подобных аттестаций, в которых возможно дружеское преувеличение, та беспощадная полемика, которую Маркс вел в своих первых сочинениях с представителями исторической школы права; против ее узости и тупости,

так же как и вредного влияния на развитие права и законодательства, красноречиво ополчался и философски образованный юрист Ганс.

Однако, по собственным словам Маркса, юриспруденция как специальность стояла для него на втором плане в университете; главными предметами он считал историю и философию, но лекций не посещал и записался лишь на обязательные практические занятия по логике у Габлера, официального преемника Гегеля, – самого посредственного из всех его посредственных учеников. Но Маркс уже и в университете работал самостоятельно; в два семестра он овладел запасом знаний, каких не усвоить было и в течение двадцати семестров, если бы воспринимать их маленькими порциями, на лекциях, по системе академической кормежки.

По приезде в Берлин Маркса прежде всего захватил «новый мир любви». «Опьяненный любовью и бедный надеждами», он излил свои чувства в трех тетрадах стихов, которые все были посвящены «моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален». К ней в руки эти стихи попали уже в декабре 1836 г., и она читала их, «обливаясь слезами блаженства и печали», как писала в Берлин сестра Маркса София. Сам автор отзывался год спустя в большом письме к родителям очень непочтительно об этом детище своей музыки: «Чувство выражено бесформенно и расплывчато; никакой естественности, все вымышленно, полное несоответствие того, что сказано, тому, что должно было быть выражено; риторические размышления вместо поэтических мыслей». Весь этот список прегрешений развертывает сам юный поэт. Правда, он оговаривается, что, «пожалуй, в стихах есть некоторая теплота чувства и подъем»; но если эти похвальные качества и служат смягчающим обстоятельством, то лишь в том смысле и в той мере, как относительно «Песен к Лауре» Шиллера.

В общем, эти юношеские стихотворения дышат тривиальной романтикой, сквозь которую редко пробивается искренний тон. При этом техника стиха более тяжелая и неуклюжая, чем, в сущности, позволительно было после Гейне и Платена. Такими сбивчивыми путями развивалась вначале художественность, которою Маркс обладал в высокой мере и которую проявил и в своих научных сочинениях. Силой и образностью своего языка Маркс мог поспорить с лучшими мастерами германской литературы; он придавал также большое значение эстетическому чувству меры в своих произведениях – не в пример скудным умам, которые считают скучное изложение основным ручательством учености. Но среди многочисленных даров, положенных музами в колыбель Маркса, все же не было дара размеренной речи.

Впрочем, он сам, в своем большом письме к родителям от 10 ноября 1837 г., отводил поэзии лишь роль аккомпанемента в своей жизни; он считал своей обязанностью изучать юриспруденцию и прежде всего чувствовал потребность испробовать свои силы в философии. Он изучил Гейнекциуса, Тибо и первоисточники, перевел на немецкий язык две первые книги «Пандект» Юстиниана и пытался обосновать философию права в области права. Этот «злосчастный *opus*» он даже будто бы довел до трехсот листов, хотя, быть может, это только описка. В конце концов Маркс убедился в «ложности всего этого» и бросился в объятия философии, с целью создать новую метафизику, а в заключение снова убедился в ложном направлении своих занятий. При этом он имел привычку делать выписки из всех книг, которые прочитывал, – из «Лаокосона» Лессинга, «Эрвина» Зольгера, «Истории искусств» Винкельмана, «Истории немецкого народа» Лудена – и на полях набрасывал свои размышления по поводу прочитанного. Одновременно с этим он переводил «Германию» Тацита, элегии Овидия и без учителя, по грамматике, изучал итальянский и английский языки – без особенного успеха, читал «Уголовное право» Клейна и его «Анналы», а также, на досуге, и новейшую литературу. Конец семестра снова посвящен был «пляскам муз и музыке сатиров», причем внезапно перед ним засверкало, как далекий заколдованный замок, царство истинной поэзии, и его собственное творчество рассыпалось в прах.

В итоге этот первый семестр дал «много ночей, проведенных без сна, много споров, много внешних и внутренних стимулов», но мало приобретений. Маркс пренебрегал за это время

природой, искусством, светом, оттолкнул от себя друзей. К тому же его юный организм переутомился, и по совету врача Маркс переехал в Штралау, в то время еще тихую рыбацкую деревушку. Там он скоро поправился, и снова началась напряженная умственная работа и борьба. Во втором семестре он тоже поглощал массу самых разнообразных знаний, по все определеннее выступала в его занятиях философия Гегеля, как точка опоры среди смены явлений. Когда Маркс впервыезнакомился с нею по отрывкам, ему не нравилась эта «фантастическая песня утесов»; но во время новой болезни он проштудировал ее сначала до конца и вдобавок записался членом в клуб молодых гегельянцев. Там, среди идейных споров, он все теснее примыкал к «теперешней мировой философии», причем, правда, в нем самом замолкло все богатство звуков, и его охватило «подлинное неистовство иронии после стольких отрицаний».

Все это Карл раскрыл своим родителям и закончил письмо просьбой о разрешении вернуться домой сейчас же, а не на Пасху следующего года, как ему раньше дозволил отец. Ему хотелось потолковать с отцом о «разбросанности» своего ума; только «милая близость» родителей помогла бы ему умиротворить «взволнованные призраки».

Письмо это теперь драгоценно для нас, ибо в нем, как в зеркале, отразился Маркс, каким он был в молодые годы; но на родителей оно произвело неблагоприятное впечатление. Отец, уже прихварывавший в то время, вновь увидел перед собою «демона», которого издавна боялся в сыне; он стал вдвойне бояться этого призрака с тех пор, как полюбил «некую особу», как свое дитя, с тех пор, как весьма почтенное семейство одобрило союз, по-видимому суливший любимому существу жизнь, полную опасностей, и весьма туманное будущее. Он никогда не был так упрям, чтобы предписывать сыну жизненный путь, лишь бы Карл избрал такой, который даст ему возможность выполнить «священный долг»; но то, что отец видел перед собой, было «взбаламученное море, без надежного дна, куда можно было бросить якорь».

И потому, несмотря на «слабость», которую он сознавал в себе больше, чем кто-либо, Гейнрих Маркс решил «раз в жизни выказать суровость», и его ответ от 1 декабря, «суровый» в свойственной ему манере, написан в чрезвычайно преувеличенных выражениях вперемежку с горестными вздохами. Отец спрашивал Карла, выполнил ли он возложенную на него задачу и как выполнил, причем тут же отвечал сам: «Из рук вон плохо!!! Беспорядочное метание из одной области знания в другую, тупое высиживание мыслей при тусклом свете ночника; одичание ученого, нечесаного и в халате, взамен одичания за кружкой пива; отталкивающее нелюбимство и забвение всякого приличия, даже уважения к отцу. Искусство светского общения с людьми ограничено стенами грязной комнаты, где, быть может, среди классического беспорядка, любовные письма Женни и доброжелательные, быть может, слезами писанные увещания отца служат для раскуривания трубки, хотя и это лучше, чем если бы они, по небрежности, попали в руки третьих лиц». Тут печаль обессиливала отца, и, чтобы оставаться беспощадным, он вынужден был подкрепляться пилюлями, прописанными ему доктором. Далее Карлу делается строгий выговор за неумение распоряжаться деньгами: «Можно подумать, что мы Крёзы: за один год сынок изволил истратить чуть не 700 талеров, тогда как богачи не тратят и 500». Конечно, Карл не мот и не кутила, но разве может человек, который чуть не каждую неделю изобретает новые системы и разрушает старые, заниматься такими пустяками? Его, наверно, надувают на каждом шагу, и всякий, кому только не лень, запускает руку в его карман.

Дальше идут еще рассуждения в таком же духе, и письмо заканчивается неумолимым отказом в разрешении приехать домой.

«Ехать сюда в данный момент нелепо. Я знаю, что ты все равно неаккуратно посещаешь лекции, хотя, вероятно, платишь за них; но я хочу, по крайней мере, соблюсти внешнее приличие. Я не раб общественного мнения, но не люблю злословия на мой счет». «На пасхальные каникулы – милости просим, или даже дней на десять раньше, так как отец твой не педант».

Во всех этих жалобах звучал укор сыну в бессердечности, и так как Маркса не раз в этом упоряли, а здесь упрек брошен был в первый раз и, пожалуй, с наибольшим основанием, то

лучше сразу сказать по этому поводу то небольшое, что есть сказать. Модный лозунг «право изживать себя» изобретен нашею изнеженной культурой, чтобы прикрыть трусливый эгоизм; он, конечно, не является удовлетворительным ответом, так же как более старинного происхождения слова «о правах гения», который может позволить себе больше, чем обыкновенные смертные. У Карла Маркса неутомимая борьба за высшее познание вытекала не из черствости ума, а из глубочайших переживаний сердца; он был отнюдь «не бык», как он раз грубо выразился, чтобы «повернуться спиной к страдающему человечеству», или, как высказал ту же мысль Гутген: «Бог для того обременил его душой, чтобы каждая боль болела у него сильнее, чтобы каждое горе он принимал ближе к сердцу, чем другие люди». Никто не сделал так много, как Карл Маркс, чтобы вырвать с корнем «муки человечества». Его плавание по житейскому морю было сплошь бурным; корабль его трепали непогоды, враги непрерывно осыпали его градом пуль, и хотя флаг его всегда гордо развевался на мачте, но жизнь на борту его корабля не была легкой и уютной ни для команды, ни для капитана.

И потому нельзя сказать, что Маркс был равнодушен к горю своих близких. Боевой дух заглушал иногда на время голос сердца, но не мог подавить его окончательно; часто, уже в зрелом возрасте, Маркс горько жаловался, что под гнетом его сурового жизненного удела те, которые ему всех ближе, страдают больше, чем он сам. И молодой студент не остался глухим к жалобам отца: он отказался не только от немедленной поездки в Трир, но не приехал и на пасхальные каникулы, что огорчило его мать, но весьма порадовало отца, гнев и досада которого скоро улеглись. Правда, жалобы слышатся и в последующих письмах, но преувеличений уже нет; отец сам признал, что в искусстве отвлеченных рассуждений ему не по силам состязаться с Карлом; для того же, чтобы изучать терминологию, прежде чем проникнуть в святилище, он слишком стар. Только в одном пункте отец не считался ни с какой трансцендентностью – и сын в этом вопросе благоразумно хранил гордое молчание – в вопросе о презренном металле; ценность его для семейного человека Карл, по словам отца, все еще, по-видимому, не понимал. Но, утомясь бесплодной борьбой, отец заявил, что «готов сложить оружие»; и смысл этих слов был более серьезный, чем можно было предположить по легкому юмору, который вновь сквозил в строках его письма.

Письмо помечено 10 февраля 1838 г.; Гейнрих Маркс только что поднялся после болезни, пролежав пять недель в постели. Но улучшение было непродолжительное; недуг – по-видимому, болезнь печени – вернулся снова, и три месяца спустя, 10 мая 1838 г., отец Карла Маркса скончался. Смерть пришла вовремя и избавила родительское сердце от огорчений и разочарований, которые разбивали бы его по частям.

Карл Маркс всегда с нежной признательностью вспоминал об отце. И так же как отец хранил любовь к сыну глубоко в сердце, у сына образ отца был живым в душе до самой могилы.

Младогегельянцы

С весны 1838 г., когда умер его отец, Карл Маркс прожил в Берлине еще три года и вращался среди членов докторского клуба, умственная жизнь которого открыла ему тайны гегелевской философии.

Учение Гегеля тогда еще считалось прусской государственной философией. Министр народного просвещения Альтенштейн и его тайный советник Иоганн Шульце взяли ее под свое высокое покровительство. Гегель возвеличивал государство, как воплощение нравственной идеи, как абсолютно разумное и абсолютную самоцель; этим он присваивал ему высшие права по отношению к отдельным личностям, для которых верховный долг – быть членами государства. Это учение о государстве было чрезвычайно по душе прусской бюрократии; оно бросало смягчающий свет даже и на грехи, связанные с травлей демагогов!

Гегель отнюдь не лицемерил в своей философии: на уровне его политического развития монархия, в которой слуги государства трудятся каждый по мере сил, казалась ему идеальной формой правления; все же он считал необходимым некоторое участие господствующих классов в делах правления, со строгим, однако, сословным ограничением; о всеобщем народном представительстве в современно-конституционном смысле он также не допускал и мысли, как прусский король и оракул его Меттерних.

Но система, которую Гегель состряпал для себя, как для личности, находилась в непримиримом противоречии с диалектическим методом, который он проводил как философ. Вместе с понятием бытия дано и понятие небытия, а из борьбы обоих возникает высшее понятие становления. Все существует и в то же время не существует, ибо все течет, все постоянно меняется, непрерывно возникает и проходит. История для Гегеля – процесс развития, непрерывно преобразующегося, восходящего от низших к высшим ступеням; и этот процесс Гегель с его универсальной образованностью выяснял в самых различных отраслях исторической науки, хотя лишь в той форме, соответствующей его идеалистическому мировоззрению, что во всех исторических событиях проявляется абсолютная идея; ее он считал животворящей душой всего мира, ничем другим ее не определяя.

Таким образом, союз между философией Гегеля и государством Фридрихов Вильгельмов был скорее браком по рассудку; он длился лишь до тех пор, пока обе стороны проявляли рассудительность по отношению одна к другой. Так оно приблизительно и было в дни карлсбадских резолюций и преследования демагогов; но уже июльская революция 1830 г. дала такой сильный толчок вперед развитию Европы, что метод Гегеля оказался несравненно прочнее его политической системы. Как только пока еще слабые отголоски июльской революции в Германии были задушены и над страной поэтов и мыслителей снова навис покой кладбищ, прусское юнкерство поспешило еще раз сыграть против современной философии на старом хламе средневековой романтики. Это было тем легче для него, что восхищение Гегелем шло не столько от него, как от более или менее свободомыслящей бюрократии, и Гегель, при всем возвеличении чиновничьего государства, нисколько не способствовал поддержке религиозных верований в народе; а это альфа и омега феодальной традиции и, в конечном счете, всех эксплуатирующих классов.

На религиозной почве и произошло первое столкновение. Гегель полагал, что рассказы из Священного Писания, собранные в Библии, следует рассматривать как обыкновенные произведения светской литературы и что вера не имеет ничего общего с заурядными повествованиями из действительной жизни. Ученик его, Давид Штраус, молодой шваб, сделал все выводы из слов учителя. Он требовал, чтобы евангельские рассказы были подвергнуты суду исторической критики, и в подкрепление своего требования написал «Жизнь Иисуса»; она вышла в свет в 1835 г. и произвела огромное впечатление. Этою книгой Штраус примыкает к буржуазному

«просветительству», о котором Гегель отзывался слишком презрительно. Но дар диалектического мышления помог Штраусу поставить вопрос несравненно глубже, чем ставил его старик Реймарус, лессинговский «Неназванный». Штраус не усматривал в христианстве простого обмана и в апостолах шайки шарлатанов, а объяснял мифическую часть Евангелия бессознательным творчеством первых христианских общин. Но все же многое в Евангелии он еще признавал историческим повествованием о жизни Иисуса и самого Иисуса – историческою личностью; во всех крупнейших событиях его жизни он усматривал зерно исторической правды.

В политическом смысле Штраус был совершенно безобиден и оставался вне политики до конца жизни. Несколько резче звучала политическая нота в органе младогегельянцев – «Галльские ежегодники», основанном Арнольдом Руге и Теодором Эхтермейером в 1838 г. Журнал этот, правда, тоже посвящен был литературе и философии и являлся вначале только противовесом берлинским «Ежегодникам научной критики», заржавленному органу старогегельянцев. Но Арнольд Руге, перед которым скоро отступил на второй план рано умерший Эхтермейер, принимал участие уже в студенческом движении и в годину безумной травли демагогов поплатился шестилетним тюремным заключением в Кепенике и Кольберге. Он, впрочем, не отнесся трагично к своей судьбе; получив приват-доцентуру в Галле, он выгодно женился и создал себе обеспеченное существование, после чего, несмотря на все пережитое, находил прусский государственный строй справедливым и свободным. Руге, в сущности, ничего не имел против того, чтобы на нем оправдалась злая шутка старопруссских мандаринов, уверявших, будто в Пруссии никто так быстро не делает карьеры, как обращенный демагог. Этого, однако, не случилось.

Руге не был самостоятельным мыслителем и тем более революционером; но он был честолюбив, образован, трудолюбив и обладал боевым задором как раз в той мере, какая требуется для того, чтобы хорошо вести научный периодический орган. Он сам однажды назвал себя не без меткости оптовым торговцем в области духа. «Галльские ежегодники» сделались под его редакторством сборным пунктом для всех беспокойных умов, которые обладали вполне допустимым для государственного порядка умением вносить наиболее жизни в газетную лавочку. Давид Штраус привлекал читателей несравненно больше, чем все богословы, с пеной у рта отстаивавшие божественную непогрешимость Евангелия. Правда, сам Руге уверял, что его журнал остается «гегельянски-христианским и гегельянски-прусским», но министр народного просвещения Альтенштейн, и без того прижатый к стене романтической реакцией, не верил в его миролюбие и не внял неотступной просьбе Руге о зачислении его на государственную службу в знак признания его заслуг. Тогда «Галльские ежегодники» прониклись сознанием, что необходимо разбить оковы, которые держали в плену прусскую свободу и правосудие.

К числу сотрудников «Галльских ежегодников» принадлежали и берлинские младогегельянцы, среди которых Карл Маркс провел три года своей молодости. Докторский клуб состоял из доцентов, учителей, писателей – всех людей в расцвете лет и сил. Рутенберг, которого Карл Маркс в одном из писем к своему отцу называл «самым близким» своим другом в Берлине, преподавал географию в берлинском кадетском корпусе; его уволили будто бы за то, что он однажды утром подобран был пьяным в канаве, а на самом деле потому, что его заподозрили в писании «неблагонамеренных» статей в лейпцигских или гамбургских газетах. Эдуард Мейен сотрудничал в недолго просуществовавшей газете, где Маркс поместил два своих стихотворения – к счастью, единственных, увидевших свет. Не выяснено в точности, входил ли в состав этого кружка, уже в те годы, когда Маркс был студентом Берлинского университета, также и Макс Штирнер, преподававший в женской школе. Прямых доказательств личного знакомства Маркса с Штирнером не имеется, но вопрос этот и не представляет большого интереса; какой-либо духовной близости между ними никогда не было. Действительно же большое влияние оказали на Маркса наиболее выдающиеся члены докторского клуба: Бруно Бауэр, приват-доцент Берлинского университета, и Карл Фридрих Кеппен, преподаватель реального училища в Доротеенштадте.

Карлу Марксу едва исполнилось двадцать лет, когда он примкнул к докторскому клубу; но, как часто и в позднейшие годы его жизни, вступая в новый круг людей, он сразу сделался умственным центром его. Бауэр и Кеппен были оба старше его лет на десять, но они скоро признали умственное превосходство Маркса и не желали себе лучшего боевого товарища, чем этот юноша, который еще многому мог научиться у них и действительно научился. «Своему другу, Карлу Гейнриху Марксу из Трира» посвятил Кеппен неистовый памфлет, выпущенный им в 1840 г., по поводу самой годовщины рождения короля Фридриха Прусского.

Кеппен был на редкость талантливый историк, о чем и ныне свидетельствуют его статьи в «Галльских ежегодниках»: ему мы обязаны первой истинно исторической оценкой эпохи красного террора в Великой французской революции. Он очень верно и удачно критиковал современных ему историков Лео, Ранке, Раумера, Шлоссера и сам пробовал силы в различных отраслях исторического исследования, от литературного введения в северную мифологию, достойного занять место рядом с исследованиями Якова Гримма и Людвиг Уланда, до большой книги о Будде; ее хвалил и Шопенгауэр, вообще не жаловавший старого гегельянца. Если такой умный человек, как Кеппен, жаждал, чтобы «возродился дух» злейшего деспота прусской истории и «огненным мечом истребил всех противников, препятствующих нам войти в страну обетованную», то это показывает, в каком странном мире перевернутых понятий жили берлинские младогегельянцы.

При этом, разумеется, не следует забывать о двух обстоятельствах. Романтическая реакция и все, что примыкало к ней, всячески старались очернить память старого Фрица. Это был, как выражался Кеппен, «ужасающий кошачий концерт: старо- и новозаветные трубы, назидательные варганы и нравоучительные волынки, исторические фаготы и прочая дрянь, в том числе гимны свободе, распеваемые древнетевтонским пивным басом». А затем тогда еще не существовало критически-научного исследования, которое хотя бы попыталось дать справедливую оценку жизни и деятельности прусского короля; такового и не могло быть, так как главнейшие источники, по которым возможно было бы воссоздать его историю, еще не были открыты для пользования. Фридриха считали «просвещенным» государем, и поэтому одни ненавидели его, а другие восхищались им.

Действительной целью, которую преследовал Кеппен в своем памфлете, был возврат к просветительной поре восемнадцатого столетия. Руге говорил о Бауэре, Кеппене и Марксе, что отличительный их признак – связь с буржуазным просвещением; они представляли собой философскую партию Горы и чертили грозное «*Мене, текел, фарес*» на германском грозном небе. Кеппен опровергал «пустые выкрики» против философии XVIII в., доказывая, что хотя немецкие деятели просвещения и скучны, но мы все же многим обязаны им; беда лишь в том, что они были недостаточно просвещенными. Это Кеппен старался втолковать главным образом тупым почитателям Гегеля, «одиноким кающимся понятиям», «старым браманам логики», которые, поджав под себя ноги, восседали в вечной неподвижности, однообразно бормотали себе под нос, перечитывая снова и снова три священные книги Вед, и лишь от времени до времени бросали похотливые взгляды в сторону пляшущих баядерок. Неудивительно, что в органе старогегельянцев Варнхаген назвал памфлет Кеппена «омерзительным»; его особенно задел грубый отзыв Кеппена о «болотных кротах», этих червях без религии, без отечества, без убеждений, без совести, без сердца, ни теплых ни холодных, не умеющих ни скорбеть, ни радоваться, ни любить, ни ненавидеть, не верующих ни в Бога, ни в черта, о жалких людишках, которые бродят перед вратами ада, ибо их не хотят впустить даже в ад, до такой степени они ничтожны.

Кеппен прославлял «великого монарха» только как «великого философа», но при этом попал впросак – в большей степени, чем было допустимо даже при тогдашней малой осведомленности. Он писал: «Фридрих не обладал, подобно Канту, двойным разумом: теоретическим – выступавшим довольно искренно и смело со всеми своими сомнениями, вопросами и отрицаниями, и практическим – играющим роль как бы официально поставленного над ним опекуна,

который заглаживает грехи первого и утаивает его студенческие проказы. Только самый незрелый ученик способен утверждать, что теоретически-философский разум Фридриха – крайне трансцендентный в сравнении с королевским-практическим и что старый Фриц нередко забывал об отшельнике из Сан-Суси. В нем, напротив того, король никогда не отставал от философа». В настоящее время всякий, кто рискнул бы повторить это утверждение Кеппена, уличил бы себя этим в ученической незрелости в области прусской исторической науки; но и для 1840 г. было большим промахом поставить просветительную работу целой жизни такого человека, как Кант, ниже просветительных забав деспота Бруссии, которым он предавался при соучастии французских писателей, унижавшихся до роли его придворных шутов.

В этом промахе Кеппена сказались разобщенность, скудость и пустота берлинской жизни, вообще пагубно отражавшейся на тамошних гегельянцах. Это особенно заметно на Кеппене, более способном устоять, чем другие, и сказывается в его боевом памфлете, написанном с большою искренностью. В Берлине буржуазное самосознание не имело еще той могучей опоры, какую в рейнских землях ему оказывала уже сильно развитая промышленность; и когда борьба перешла на практическую почву, прусская столица оказалась на заднем плане по сравнению не только с Кёльном, но с Лейпцигом и Кёнигсбергом. «Они воображают, будто пользуются невесть какой свободой, – писал о тогдашних берлинцах уроженец Восточной Пруссии Валесроде, – потому что вышучивают в кафе, на манер ротозеев, видных сановников, короля, текущие события и т. п.». Берлин был прежде всего военным городом и резиденцией монарха, и его мелкобуржуазное население вознаграждало себя мелочно-злыми сплетнями за свое трусливое раболепство при виде каждой придворной кареты. Очагом такого рода оппозиции был сплетнический салон того Варнгагена, который отрекся даже от просвещения в духе Фридриха, как его понимал Кеппен.

Нет никаких сомнений, что юный Маркс разделял взгляды, высказанные в памфлете, в котором впервые с почетом названо было его имя. С Кеппеном он был очень близок и заимствовал многие писательские приемы у старшего товарища. Они и впоследствии остались добрыми друзьями, хотя пути их скоро разошлись. Когда Маркс двадцать лет спустя посетил Берлин, он нашел Кеппена «все тем же старым Кеппеном», и они весело отпраздновали встречу. Вскоре после того, в 1863 г., Кеппен умер.

Философия самосознания

Подлинным главой берлинских младогегельянцев был, однако, не Кеппен, а Бруно Бауэр. Как самый выдающийся ученик Гегеля, он пользовался соответственным почетом, особенно когда, с высокомерием умозрительного философа, ополчился на штраусовскую «Жизнь Иисуса» и получил от Штрауса резкий отпор. Министр народного просвещения Альтенштейн взял под свою защиту его многообещающий талант.

При всем том Бруно Бауэр не был честолюбцем, и Штраус ошибался, пророча ему, что он кончит «окостенелой схоластикой» ортодоксального вождя Генгстенберга. Напротив того, летом 1839 г. у Бруно Бауэра завязалась литературная полемика с Генгстенбергом, который хотел возвести ветхозаветного Бога мести и гнева в Бога христиан. Спор их, правда, не выходил за пределы академической полемики; ослабевал под старость, и запуганный Альтенштейн предпочел все же убрать своего любимца подальше от подозрительности столь же мстительных, как и правоверных ортодоксов. Осенью 1839 г. он послал Бруно Бауэра в Боннский университет приват-доцентом, с намерением не далее чем через год произвести его в профессора.

Но Бруно Бауэр, как это видно из его писем к Марксу, переживал в то время идейную эволюцию, которая завела его гораздо дальше Штрауса. Он приступил к критике Евангелия и разрушил последние остатки здания, еще сохраненные Штраусом. Бруно Бауэр доказывал, что во всех четырех Евангелиях нет ни единого атома исторической правды и все описанное в них – вольный литературный вымысел евангелистов; он доказывал, что христианство не было навязано в качестве мировой религии древнему греко-римскому миру, а вышло из этого мира, было подлинным его созданием. Этим Бауэр наметил единственный путь, на котором возможно научное исследование источников христианства. Недаром модный и салонный придворный богослов Гарнак, восстанавливая в настоящее время Евангелие в интересах правящих классов, обозвал недавно «жалкими людишками» идущих по пути Бруно Бауэра.

В то время как такие мысли созревали в голове Бруно Бауэра, Карл Маркс был его неразлучным спутником; и сам Бауэр видел в друге, который был моложе его на девять лет, на редкость даровитого боевого товарища. Не успел он обжиться в Бонне, как начал настойчиво звать туда и Маркса. Профессорский клуб в Бонне, писал Бауэр, «чистейшей воды филистерия» в сравнении с берлинским докторским клубом, в котором все же больше духовных интересов. И в Бонне он много смеется, но еще ни разу не смеялся так, как в Берлине, когда просто ходил с Марксом по улицам. Бауэр торопил Маркса сдать скорее свой «несчастный экзамен», для которого нужно только прочесть Аристотеля, Спинозу, Лейбница и больше ничего; не стоит долго возиться с такими пустяками и относиться серьезно к сущей комедии. С боннскими философами, писал он, Маркс справится шутя, а главное – необходимо теперь же, не откладывая, начать издавать вдвоем радикальный журнал. Берлинское пустословие и пресность «Галльских ежегодников» становятся невыносимы; жаль Руге, но почему он не вышвырнет из своего журнала всю эту нечисть?

Тон этих писем иногда довольно революционный, но Бауэр имел всегда в виду только философскую революцию и рассчитывал скорее на содействие, нежели противодействие государственной власти. Еще в декабре 1839 г. он писал Марксу, что Пруссии, по-видимому, суждено идти вперед лишь при помощи Иенских битв, причем таковые не должны непременно происходить на полях сражений; а несколько месяцев спустя, когда умер его покровитель Альтенштейн и почти одновременно с ним старый король, Бауэр стал взывать к высшей идее германской государственности, к семейным традициям Гогенцоллернов, которые в течение уже четырех столетий, не щадя сил, стараются установить надлежащие отношения между церковью и государством. И в то же время Бауэр заявлял, что наука будет неустанно отстаивать идею государства от посягательств церкви: государство иногда заблуждается и относится к науке

подозрительно, даже прибегает к насильственным мерам, но ему присуще быть разумным, и заблуждения его длятся недолго. На это изъявление преданности новый король ответил тем, что назначил преемником Альтенштейна правоверного реакционера Эйхгорна, а тот поспешил пожертвовать свободой науки, поскольку она связана с идеей государства, то есть академической свободой, чтобы удовлетворить домогательства церкви.

Политическое легкомыслие было гораздо более присуще Бауэру, чем Кеппену, который ошибался относительно одного Гогенцоллерна, переросшего мерку своей семьи, но никак не относительно «семейных традиций» этой династии. Кеппен не завяз так глубоко в гегелевской идеологии, как Бауэр. Не следует, однако, упускать из виду, что политическая близорукость Бауэра является лишь оборотной стороной его философской дальнорукости. Он видел в Евангелии духовный осадок той эпохи, в которую оно возникло. С чисто идеологической точки зрения он был не так не прав, полагая, что если христианство с его мутной смесью греческой и римской философии могло преодолеть античную культуру, то тем легче будет ясным и свободным критическим методом новейшей диалектики стряхнуть с себя бремя христианско-германской культуры.

Эту внушительную уверенность в себе давала ему философия самосознания. Под этим именем сплотились некогда греческие философские школы, которые возникли в период национального упадка Греции и наиболее способствовали оплодотворению христианской религии: скептики, эпикурейцы и стоики. По умозрительной глубине они не могли равняться с Платоном, а по универсальности с Аристотелем и Гегель относился к ним свысока. Их общей целью было освободить единичную личность, оторванную катастрофой от всего, что ее раньше связывало и поддерживало, дать ей независимость и от всего внешнего и сосредоточить ее интересы на собственной внутренней жизни, научить ее искать счастья в умственном и душевном спокойствии, незыблемом, даже если целый мир обрушится ей на голову.

Но на развалинах разрушенного мира, говорит Бауэр, измученное «я», видя себя единственной силой, испугалось само себя и выделило свое самосознание, противопоставив его себе, как чуждое всемогущество. Властителю вселенной в Риме, присвоившему себе все права, властелину жизни и смерти, оно дало брата, правда враждебного, в евангелическом Господе, который одним дуновением своим побеждает законы природы и уже на земле провозглашает себя царем и судьей мира. Однако человечество воспиталось под игом христианства лишь затем, чтобы еще основательнее уготовить путь свободе и глубже принять ее душой, когда она наконец будет завоевана: вернувшееся к самому себе, само себя понявшее и постигшее свою сущность бесконечное самосознание имеет власть над созданиями своего самоотчуждения.

Отбросив иносказательность тогдашней философской речи, можно понятнее и проще сказать, что именно привлекало Бауэра, Кеппена и Маркса в греческой философии самосознания. В сущности, они примыкали через нее к буржуазному просвещению. Старогреческие школы самосознания имели далеко не таких гениальных представителей, как древнейшие натурфилософы в лице Демокрита и Гераклита или позднее представители философии понятия в Аристотеле и Платоне; но все же они сыграли крупную историческую роль. Они открыли человеческому духу новые горизонты, сломали национальные рамки эллинизма, разбили социальные грани рабства, от которых еще не могли освободиться ни Аристотель, ни Платон; они оплодотворили начатки христианства, религии страдающих и угнетенных, которая лишь тогда перешла к Аристотелю и Платону, когда сделалась эксплуатирующей и угнетающей господствующей церковью. При всем недружелюбном отношении Гегеля к философии самосознания и он признавал большое значение внутренней свободы, личности среди несчастья римского мирового владычества, когда грубой рукой стирали все прекрасное и благородное в духовной индивидуальности. Таким образом, уже буржуазное просвещение XVIII в. пустило в оборот греческую философию самосознания, сомнения скептиков, вражду к религии эпикурейцев и республиканские взгляды стоиков.

Кеппен берет ту же ноту, говоря о своем герое просветительной эпохи, короле Фридрихе: «Эпикурейство, стоицизм и скептицизм – нервы, мускулы и внутренности античного организма; их естественная, непосредственная цельность обуславливала красоту и нравственность древности, и они распались, когда распался этот организм. Все эти три учения Фридрих воспринял и претворил в себе с изумительной силой. Они легли в основу его мировоззрения, его характера и жизни». И тому, что Кеппен говорит здесь о связи этих трех философских систем с греческой жизнью, Маркс придавал «более глубокий смысл».

Правда, сам он иначе подходил к проблеме, занимавшей его не меньше, чем его старших друзей. Он не искал «человеческого самосознания, как верховного божества», кроме же его да не будет иного, ни в искажающем вогнутом зеркале религии, ни в досужем философствовании деспота, а предпочел обратиться к историческим источникам этой философии, в которой и он видел ключ к подлинной истории греческого духа.

Докторская диссертация

Когда осенью 1839 г. Бруно Бауэр убеждал Маркса сдать наконец «несчастный экзамен», он имел некоторое основание выражать нетерпение, ибо Маркс пробыл в университете уже восемь семестров. Но вряд ли он предполагал, что Маркс действительно боится этого экзамена; иначе он не был бы уверен, что его юный друг с первого налета разобьет в пух и прах боннских профессоров философии.

Характерной чертой Маркса до конца жизни было то, что неутолимая жажда знания заставляла его набрасываться на самые трудные проблемы, а неумолимая самокритика мешала ему быстро одолевать их. Следуя такому способу работы, он, очевидно, окунулся в самую глубь греческой философии; уяснить же себе вполне хотя бы только три системы самосознания было не так легко, чтобы справиться с этим в несколько семестров. Бауэр, сам работавший необычайно быстро – слишком быстро для долговечности его произведений, недостаточно это понимал, а впоследствии даже Энгельс, более чуткий в этом отношении, все же подчас выражал нетерпение, когда Маркс погружался в беспредельную самокритику.

И помимо того «несчастный экзамен» представлял некоторые осложнения если не для Бауэра, то для Маркса. Еще при жизни отца Маркс решил посвятить себя науке, но этим не устранялась необходимость выбора практической профессии. Но со смертью Альтенштейна исчезала самая заманчивая сторона профессуры, более всего искупавшая многочисленные теневые стороны, то есть сравнительная свобода в изложении философских взглядов с университетской кафедры. А как мало других преимуществ давал академический парик – об этом весьма красноречиво писал и Бауэр из Бонна.

Вскоре Бауэру пришлось изведать самому, какова независимость прусского профессора в области научных исследований. После смерти Альтенштейна в мае 1840 г. министерством народного просвещения управлял в течение нескольких месяцев заведующий делами министерства директор Ладенберг; он настолько уважал память своего старого начальника, что хотел исполнить его обещание и пытался прикрепить Бауэра к Боннскому университету в качестве профессора. Но потом министром народного просвещения назначен был Эйхгорн, и тогда боннский богословский факультет отказался принять в свою среду Бауэра, ссылаясь на то, что это нарушило бы единство преподавания; отказ был предъявлен с той геройской отвагой, которую немецкие профессора всегда готовы проявить, когда они убеждены, что высшее начальство тайне одобряет их.

Бауэру сообщили об этом решении факультета как раз перед его возвращением в Бонн из Берлина, где он проводил осенние каникулы. В кругу его друзей стали тогда обсуждать вопрос, не знаменует ли это непоправимый разрыв между религией и наукой и совместима ли с совестью служителя науки принадлежность к богословскому факультету. Но сам Бауэр упорствовал в своем оптимизме по отношению к прусскому государственному строю и отклонил официозное предложение заняться литературным трудом при поддержке из государственных средств. Он вернулся в Бонн полный боевого задора и надеялся, что совместно с Марксом, который вскоре должен был последовать за ним, ему удастся вызвать кризис.

Своего намерения издавать радикальную газету оба они не изменили, но виды Маркса на академическую карьеру в рейнском университете были весьма плохие. Ему заранее приходилось считаться с тем, что боннские профессора встретят его враждебно, видя в нем друга и единомышленника Бауэра; а искать расположения Ладенберга или Эйхгорна, как советовал ему Бауэр, было совсем не в его духе. В таких делах Маркс был всегда очень строг. Но если бы даже он и склонен был вступить на этот скользкий путь, то можно было заранее предвидеть, что он поскользнется на нем. Эйхгорн не замедлил выявить свое направление; чтобы окончательно добить одряхлевших и окостенелых гегельянцев, он призвал в Берлинский университет

старика Шеллинга, тем временем уверовавшего в откровение, и подверг административной каре галльских студентов, которые подали всеподданнейшую петицию на имя короля, своего ректора, с ходатайством о назначении Штрауса профессором в Галле.

При таких перспективах Маркс со своими младогегельянскими воззрениями отказался вообще от мысли сдавать экзамен при прусском университете. Но если он не желал, чтобы над ним измывались послушные креатуры какого-нибудь Эйхгорна, то это не значило, что он складывал оружие и отказывался от борьбы. Он, напротив того, решил приобрести докторский диплом в одном из маленьких университетов, одновременно с тем напечатать диссертацию как доказательство своих способностей и прилежания, снабдить ее вызывающе смелым предисловием, а затем поселиться в Бонне и вместе с Бауэром издавать задуманную ими газету. При этом и университет не был бы совершенно закрыт для него; по университетскому уставу ему достаточно было, в качестве *Doctor promotus* «иностранного» университета, выполнить еще некоторые формальности, чтобы получить право читать лекции в университете в качестве приват-доцента.

Этот план Маркс и привел в исполнение. 15 апреля 1841 г. ему заочно был присужден в Иене докторский диплом, на основании диссертации о различиях между демокритской и эпикурейской натурфилософией. То была лишь первая часть более крупного труда, в котором Маркс хотел представить весь цикл философии стоиков, эпикурейцев и скептиков в связи со всем греческим философским мышлением. Пока же он выяснял эту связь лишь на одном примере, и притом на более древних системах мышления.

Из древнейших натурфилософов Греции Демокрит наиболее последовательно держался материализма. Из ничего ничего не будет; ничто из того, что есть, не может быть уничтожено. Всякая перемена лишь соединение или же разделение частей. Ничто не происходит случайно; все имеет причину и вытекает из необходимости. Ничто не существует, кроме атомов и пустого пространства; все прочее есть мнение. Атомы неисчислимы и бесконечно разнообразны по форме. В вечном падении через бесконечность пространства более крупные атомы, падающие быстрее, ударяются о меньшие; возникающие отсюда движения в стороны, а также вихри полагают начало образованию мира. Несчетные миры образуются и распадаются то рядом один с другим, то сменяя один другой.

Эпикур перенял у Демокрита его взгляд на природу, но с некоторыми изменениями. Наиболее известное из этих изменений заключалось в теории так называемой деклинации, то есть уклона атомов; Эпикур утверждал, что атомы падают не вертикально, а несколько отклоняясь от прямой линии. За такое утверждение физически невозможного Эпикура жестоко вышучивали все критики, от Цицерона и Плутарха до Лейбница и Канта; они видели в нем последователя Демокрита, искажившего облик учителя. Но наряду с этим было и другое течение; оно усматривало в философии Эпикура законченнейшую материалистическую систему древности, благодаря тому обстоятельству, что она сохранилась в дидактической поэме Лукреция; от философии же Демокрита поток и бури веков донесли до нас лишь немногие обломки. Тот же Кант, обозвав деклинацию атомов «бесстыдной» выдумкой, видел в Эпикуре благороднейшего представителя сенсуализма, в противоположность Платону, благороднейшему философу интеллектуального начала.

Маркс не оспаривал неразумия Эпикура в физике; он признавал его «безграничное легкомыслие в объяснении физических явлений», но делал из этого вывод, что для Эпикура одно только чувственное восприятие является пробным камнем истины: Эпикур, например, считал, что солнце величиной в две пяди, потому что такой его величина представляется взорам. Но Маркс не отделялся от таких очевидных нелепостей каким-нибудь почтительным отзывом, а старался открыть философский разум в физическом неразумии. Он поступал по своему собственному прекрасному совету в примечании к трактату, написанному им для чествования его учителя Гегеля; в этом примечании он говорит, что последователи философа, допускавшего

компромиссы, должны не обвинять учителя, а объяснять его приспособляемость несовершенством принципа, в котором она коренится, и, таким образом, превратить в завоевание науки то, что кажется завоеванием совести.

То, что для Демокрита было целью, сделалось для Эпикура только средством к цели. Для него важно было не познание природы, а такой взгляд на природу, который мог служить опорой для его философской системы. Если философия самосознания, какую ее знала древность, распадается на три школы, то, по Гегелю, эпикурейцы являются представителями отвлеченно-индивидуального, стоики же – отвлеченно-общего самосознания; те и другие односторонние догматики, против односторонности которых и ополчился скептицизм. Или, как определил эту связь один из новейших историков греческой философии: в стоицизме и эпикурействе непримиримо противостоят друг другу индивидуальная и общая стороны субъективного разума, атомистическая изоляция индивидуума и его пантеистическое слияние с целым, предъявляя одинаковые притязания; в скептицизме эта противоположность нейтрализуется.

Несмотря на общую цель, эпикурейцы и стоики далеко расходились в различии своих исходных точек. Слияние с целым делало стоиков в философском отношении детерминистами, для которых сама собою разумелась необходимость всего существующего; политически же они были решительными республиканцами. В области религиозной, однако, они еще не освободились от суеверной мистики. Они примыкали к Гераклиту, у которого слияние с целым вылилось в форму самого резкого самосознания, но обходились с ним так же бесцеремонно, как эпикурейцы с Демокритом. Эпикурейцев же, напротив того, их принцип изолированной личности делал в философском отношении индетерминистами; они признавали за отдельной личностью свободу воли, а в политическом отношении были весьма терпимы – библейское изречение: «Всяка душа властям предержащим да повинуется» – наследие Эпикура; зато в области религии они уже сбросили с себя все путы.

Маркс изложил в ряде блестящих исследований «различие между натурфилософией Демокрита и Эпикура». Для Демокрита, по его толкованию, важно только материальное существование атомов; Эпикур же выясняет и самое понятие атома, а также его материю и форму, наряду с бытием и сущность его. В атоме он видел не только материальную основу мира явлений, но и символ обособленной личности, формальный принцип ее отвлеченного самосознания. Если из вертикального падения атомов Демокрит выводит необходимость всего сущего, то, по Эпикуру, атомы несколько отклоняются от прямой линии падения, ибо иначе где же будет – как говорил в своей дидактической поэме Лукреций, лучший истолкователь эпикурейской философии, – свободная воля, вырванная у судьбы воля живых существ. Это противоречие между атомом как явлением и атомом как существом проходит через всю философию Эпикура и приводит к тому безгранично-произвольному объяснению физических явлений, которое вызывало насмешки уже в древности. Лишь в небесных телах разрешаются все противоречия эпикуровской философии, но об их всеобщее и вечное существование разбивается и принцип отвлеченно обособленного самосознания. А потому Эпикур сбрасывает с себя всякую материальную личину, и, в качестве «величайшего греческого вольнодумца», как называет его Маркс, борется против религии, которая пугает смертных грозными взглядами с небесных высот.

Уже в этом первом труде сказался творческий ум Маркса даже и там, и в особенности там, где, в частности, можно оспаривать его понимание Эпикура. Ибо возражать можно, собственно, только против того, что Маркс глубже продумал основной принцип Эпикура и сделал из него более ясные выводы, чем сам Эпикур. Гегель называл эпикурейскую философию принципиально непродуманной. Ее родоначальник, как всякий самоучка, придавал большее значение обычной жизненной речи, не прибегал, конечно, к спекулятивным ухищрениям гегелевской философии, при помощи которых разъяснял эпикуреизм Маркс. Диссертация Маркса – аттестат зрелости, выданный учеником Гегеля самому себе; он уверенно пользовался диалек-

тическим методом, и его язык обнаруживает ту твердую силу, которая все же была присуща Гегелю, но которую давно утратили его ученики.

Однако в этом своем труде Маркс стоит еще целиком на идеалистической почве гегелевской философии. Читателя наших дней с первого взгляда наиболее поражает неодобрительное суждение о Демокрите. Маркс говорит о нем, что он лишь выдвинул гипотезу, которая является результатом опыта, а не действенной его силой и потому остается без осуществления и в дальнейшем не определяет собою реального исследования природы. В противоположность своему отношению к Демокриту, Маркс восхваляет Эпикура, говоря, что он создал науку об атомах, несмотря на произвольное толкование им физических явлений и несмотря на его отвлеченно обособленное самосознание; оно, как признает и сам Маркс, уничтожает подлинную науку, поскольку обособленность не является господствующим началом в природе вещей.

В наши дни уже нет надобности доказывать, что, поскольку учение о бесконечно малых телах и о возникновении всех явлений путем движения их легло в основу современного научного исследования, поскольку им объясняются законы распространения звука, света, тепла, химические и физические изменения в вещах, пионером этой науки был Демокрит, а не Эпикур. Но для тогдашнего Маркса философия, или, вернее, философия понятия, была в такой мере наукой, что привела его к взгляду, которого мы теперь даже не поняли бы, если бы в нем не сказалась также основа существа Маркса.

Жить всегда значило для Маркса работать, а работать всегда значило бороться. От Демокрита его отталкивало отсутствие «действенного начала»; в этом, как он говорил впоследствии, «главный недостаток всего доныне существовавшего материализма», который рассматривал предмет, действительность, чувственность лишь в форме объекта или в форме созерцания, а не субъективно, не как практическую деятельность человека. В Эпикуре же Маркса притягивало именно «действенное начало», побуждавшее этого философа восставать против гнетущей силы религии и дерзостно противиться ей,

Не пугаясь ни молний, ни гнева богов,
Ни ворчанья сердитых небес...

Огненным и необузданным боевым задором дышит предисловие, которым Маркс намеревался снабдить свою диссертацию, посвятив ее тестю: «Философия, пока хоть одна капля крови бьется в ее все покоряющем, абсолютно свободном сердце, всегда будет взывать вместе с Эпикуром к своим противникам, говоря им: «Безбожен не тот, кто презирает богов толпы, а тот, кто держится суждений толпы о богах». Философия открыто разделяет признание Прометея:

Проще говоря, я ненавижу всех богов.

Тем же, которые жалуются на изменившееся, видимо, к худшему положение философии в обществе, она отвечает, как Прометей посланнику богов Гермесу:

Уверен будь, я свой несчастный жребий
На барщину твою не променял бы.

«Прометей – величайший святой и мученик в философском календаре» – так заключает Маркс свое задорное предисловие, испугавшее даже его друга Бруно Бауэра. Но то, что казалось Бауэру «излишним задором», было на самом деле исповедью человека, которому суждено было стать вторым Прометеем по своим страданиям так же, как и по своей борьбе.

«Анекдоты» и «Рейнская газета»

Не успел Маркс положить в карман свой университетский диплом, как его жизненные планы, связанные с получением этого диплома, разрушились вследствие новых насилий, учиненных романтической реакцией.

Летом 1841 г., под давлением Эйхгорна, богословские факультеты принялись постыдно травить Бруно Бауэра за его критику Евангелия. Кроме университетов в Галле и Кёнигсберге, все другие изменили принципу академической свободы, и Бауэру пришлось сдаться. Но этим закрывалась и для Маркса всякая возможность оставаться при Боннском университете.

Одновременно провалился и план издания радикальной газеты. Новый король был сторонник свободы прессы; по его требованию выработан был смягченный цензурный устав, опубликованный в конце 1841 г. Но король ставил при этом условием, чтобы свобода печати не выходила за пределы, предоставленные ей романтическим капризом. Тем же летом 1841 г. он показал, как понимает свободу прессы; по его распоряжению Руге предписывалось издавать свои «Ежегодники», печатавшиеся в Лейпциге у Виганда, под прусскую цензуру; в противном случае ему грозило запрещение журнала в прусских владениях. Это настолько просветило Руге насчет «свободной и справедливой Пруссии», что он переселился в Дрезден и там, с июля 1841 г., стал издавать свой журнал под названием «Немецкий ежегодник». С этого времени тон его издания сделался более резким, чем прежде; тогда Бауэр и Маркс, которым раньше именно этой резкости в нем недоставало, решили сотрудничать в его журнале вместо того, чтобы основывать свой собственный.

Свою докторскую диссертацию Маркс не напечатал. Непосредственная цель ее отпала, и, по позднейшему заявлению автора, напечатание откладывалось до того времени, когда эта работа займет надлежащее место в общем изложении философии эпикурейцев, стоиков и скептиков; но выполнению замысла Маркса помешали «политические и философские занятия совсем иного рода».

К этим занятиям относилась прежде всего попытка доказать, что не только старик Эпикур, но и старик Гегель был завзятым атеистом. В ноябре 1841 г. Виганд издал «ультиматум», озаглавленный «Трубы Страшного Суда над Гегелем, атеистом и антихристом». Под маской оскорбленного в своих правоверных чувствах автора этот анонимный памфлет оплакивал в тоне библейских пророков атеизм Гегеля, доказывая весьма убедительно выдержками из его сочинений, что он действительно был атеист. Памфлет произвел сенсацию, тем более что вначале никто, даже Руге, не догадывался, кто скрывается за маской. Оказалось, что «Страшный Суд» был написан Бруно Бауэром, который, вместе с Марксом, намеревался продолжить свой критический разбор Гегеля и доказать наглядно, на его «Эстетике», «Философии права» и других произведениях, что не старо-, а младогегельянцы унаследовали истинный дух учителя.

Тем временем памфлет был запрещен к продаже, и издатель противился выпуску второго номера; вдобавок Маркс заболел, а тесть его уже три месяца не вставал с постели и 3 марта 1842 г. скончался. Ввиду всех этих обстоятельств Марксу не удавалось «написать ничего путного». Однако «маленькую статейку» он все же послал Руге 10 февраля 1842 г. и предоставил себя, по мере сил, в распоряжение «Немецкого ежегодника». Темой статьи был обновленный и смягченный по королевскому приказу цензурный устав. Этой статьей Маркс начал свою политическую карьеру; он подверг новый устав уничтожающей критике, шаг за шагом доказывая его логическую бессмысленность под оболочкой романтической напыщенности. Это резко противоречило ликованию «мнимолиберальных» филистеров и даже многих младогегельянцев, уже «вообразивших, будто солнце стоит высоко на небе», так они обрадовались «королевским воззрениям», высказанным в уставе.

К рукописи приложено было письмо, в котором Маркс просил поспешить с печатанием, «если цензура не зарежет моей цензуры». Предчувствие не обмануло его. 25 февраля Руге ответил ему, что «Немецкий ежегодник» отдан под строжайшую цензуру; «ваша статья стала невозможностью». Руге писал далее, что у него много таких, поневоле непринятых, статей и он даже намерен эту коллекцию «отборно красивых и пикантных вещей» выпустить в свет в Швейцарии, под названием «*Anecdota philosophica*». Маркс, в письме от 5 марта, чрезвычайно одобрил этот план. «При внезапном возрождении саксонской цензуры, – писал он, – заранее следовало предвидеть невозможность напечатать мою статью о христианском искусстве, которая должна была появиться как продолжение „Страшного Суда“». Он предложил поместить статью в измененной редакции в «Анекдотах» и обещал для того же сборника критику гегелевского естественного права, поскольку оно касается внутренней политики, направленную против конституционной монархии, как противоречивого строя, самоупражняющегося по своему двойственному существу. Руге охотно принял все его предложения, но кроме статьи о цензурном уставе ничего не получил.

В письме от 20 марта Маркс говорит, что ему бы хотелось освободить статью о христианском искусстве от библейски-напыщенного тона и докучной связанности с изложением Гегеля и подойти к вопросу с более свободной и более основательной критикой; он обещает сделать это к половине апреля. 27 апреля он пишет, что статья «почти готова», и просит Руге подождать всего несколько дней; он прибавляет, что пришлет статью в извлечении, так как в работе она разрослась чуть не в целую книгу. Затем, 9 июля, Маркс пишет, что не пытался бы оправдываться, если бы за него не говорили «неприятные внешние события»; при этом он даст слово не браться ни за какое дело, пока не кончит статьи для «Анекдотов». Наконец, в письме от 21 октября Руге пишет, что «Анекдоты» готовы и выйдут в издании «Литературного бюро» в Цюрихе; для статьи Маркса он все же приберег местечко, хотя Маркс до сих пор кормил его больше надеждами, чем их выполнением; но он отлично понимает, что Маркс может сделать очень много, если только возьмется за дело.

Подобно Кеппену и Бруно Бауэру, Руге, который был на шестнадцать лет старше Маркса, питал глубокое уважение к его молодому таланту, хотя Маркс и подвергал жестоким испытаниям его редакторское терпение. Удобным автором Маркс не был никогда, ни для своих сотрудников, ни для издателей; но никому из них в голову не приходило приписать небрежности или лени задержки, которые объяснялись лишь чрезмерной полнотой мыслей и ненасытной самокритикой.

В данном случае выступало новое обстоятельство, оправдывавшее Маркса и в глазах Руге: Маркс захвачен был интересами несравненно более волнующими, чем философия. Своей статьей о цензурном уставе он вступил на путь политической борьбы и продолжал ее теперь в «Рейнской газете», вместо того чтобы пряхть по-прежнему философскую нить в «Анекдотах».

«Рейнская газета» стала выходить в Кёльне с 1 января 1842 г. Вначале она была не оппозиционным, а скорее правительственным органом. Со времени епископских волнений в Кёльне в тридцатых годах «Кёльнская газета», имевшая восемь тысяч подписчиков, защищала притязания ультрамонтанской партии, чрезвычайно могущественной на Рейне и доставлявшей немало хлопот королевским жандармам. Делалось это не из священного воодушевления и преданности католицизму, а из коммерческих соображений, в угоду читателям, ибо они не признавали благодати, исходившей из Берлина. Монополия «Кёльнской газеты» держалась очень крепко; издатель устранял всех конкурентов, покупая их газеты, даже когда их субсидировали из Берлина. Та же участь грозила и «Рейнской всеобщей газете». Она получила разрешение на издание в декабре 1839 г., при чем разрешение было дано именно с целью подорвать единодержавие «Кёльнской газеты». В последнюю минуту, однако, образовалось акционерное общество зажиточных обывателей Кёльна для коренного преобразования газеты. Власти этому покрови-

тельствовавали и временно сохранили за газетой, переименованной в просто «Рейнскую», разрешение, выданное ее предшественнице.

Кёльнская буржуазия отнюдь не имела в виду противодействовать прусским властям, все еще чужим для населения рейнских провинций. Дела шли хорошо, и буржуазия забыла о своих французских симпатиях; а когда основался таможенный союз, она даже стала требовать господства Пруссии над всей Германией. Политические притязания ее были крайне умеренные; на первом плане стояли экономические требования, клонившиеся к облегчению условий капиталистического производства на Рейне, уже тогда высоко развитого: бережливость в управлении государственными финансами, развитие железнодорожной сети, понижение судебных пошлин и почтового тарифа, общий флаг и общие консулы для государств, входящих в состав таможенного союза, и прочие обычные пожелания буржуазии.

Оказалось, однако, что двое молодых людей, которым поручено было составить редакцию, референдарий Георг Юнг и ассессор Дагоберт Оппенгейм, были ярыми младогегельянами и находились под влиянием Мозеса Гесса, также рейнского купеческого сына; помимо гегелевской философии он ознакомился также и с французским социализмом. Сотрудников они вербовали среди своих единомышленников; из них Рутенберг вошел даже в состав редакции, и ему поручено было заведование внутренним отделом. Его рекомендовал Маркс, которому эта рекомендация не принесла много чести.

Маркс, по-видимому, стоял с самого начала очень близко к «Рейнской газете». В конце марта он собирался переселиться из Трира в Кёльн, но тамошняя жизнь казалась ему слишком шумной, и он основался в Бонне, откуда Бруно Бауэр тем временем уехал: «Жаль, если бы здесь *никто не остался* досаждать праведникам». Из Бонна Маркс начал писать свои статьи в «Рейнской газете» и скоро затмил всех прочих сотрудников.

Газета сделалась органом младогегельянцев первоначально благодаря личным взглядам и связям Юнга и Оппенгейма; все же трудно допустить, что это произошло без согласия, а тем более ведома владельцев предприятия. Последние отлично понимали, что более даровитых сотрудников в тогдашней Германии им было не найти. К Пруссии младогегельянцы относились даже почти слишком дружелюбно, а то, что в их статьях могло казаться непонятным или же подозрительным кёльнской буржуазии, она, по всей вероятности, объясняла невинным чудачеством. Как бы то ни было, но пайщики не заявляли никаких протестов, когда, в первые же недели существования газеты, из Берлина стали сыпаться жалобы на «разрушительное направление» газеты, а в конце первой четверти года ей пригрозили запрещением. В Берлине особенно испугались, когда в газете появился Рутенберг; он слыл опасным революционером и состоял под строгим политическим надзором; еще в мартовские дни 1848 г. Фридрих Вильгельм IV дрожал перед ним, считая его главным зачинщиком революции. И если сокрушительный удар был отложен на время, то этим газета была прежде всего обязана министру народного просвещения: при всей своей реакционности Эйхгорн стоял за необходимость противодействовать ультрамонтанским тенденциям «Кёльнische цайтунг»; направление «Рейнской газеты» он считал, пожалуй, «еще более опасным», но полагал, что идеи ее не могут соблазнить людей, которые стоят на твердой почве в жизни.

В этом, конечно, меньше всего можно было упрекнуть статьи, которые писал для «Рейнской газеты» Маркс; его практическое отношение к каждому вопросу, по-видимому, более мирило пайщиков газеты с младогегельянством, чем статьи Бруно Бауэра или Макса Штирнера. Иначе непонятно было бы, почему, уже через несколько месяцев после появления первой его статьи, в октябре 1842 г., они предложили ему стать во главе газеты.

Здесь Маркс впервые выказал свое несравненное умение исходить из реального положения вещей и вносить движение в окаменелую жизнь, заставляя всех плясать под свою дудку.

Рейнский ландтаг

В ряде больших статей, всех числом пять, Маркс взялся осветить деятельность рейнского провинциального ландтага, ровно за год до того заседавшего девять недель в Дюссельдорфе. Провинциальные ландтаги были бессильными фиктивными представительными учреждениями, которыми прусский король пытался прикрыть тот факт, что он нарушил обещание 1815 г. и не дал стране конституции. Заседали они при закрытых дверях и имели голос разве только в обсуждении мелких общинных дел. С тех пор как в 1837 г. начались в Кёльне и Познани столкновения с католической церковью, ландтаги вообще больше не созывались; от рейнского и познанского ландтагов можно было еще скорее, чем от других, ждать оппозиции, хотя бы и в ультрамонтанском направлении.

От всяких уклонений в сторону либерализма эти почтенные учреждения были застрахованы уже тем, что непременно условием избрания в ландтаг было владение землей; при этом половину всего состава ландтага составляли дворяне-землевладельцы, треть – городское население, имевшее земельный ценз, и одну шестую – крестьяне. Впрочем, этот достойный принцип не проводился в полной своей красоте во всех провинциях, и как раз во вновь завоеванных рейнских землях пришлось сделать некоторые уступки духу времени; все же и там дворянство владело больше чем третью всех голосов в ландтаге, а так как решения принимались большинством двух третей всего состава, то нельзя было ничего провести против воли дворянства.

Городской земельный ценз был еще ограничен условием, чтобы земля находилась не менее десяти лет во владении избираемого; кроме того, правительство имело право не утвердить выбор любого городского служащего.

К этим ландтагам все относились с презрением; но все же Фридрих Вильгельм IV, вступив на престол, вновь созвал их на 1841 г. Он даже несколько расширил их права, – впрочем, лишь с целью надуть кредиторов государства, которым еще в 1820 г. дано было обязательство заключать новые займы лишь с согласия и под гарантией государственных чинов дальнейшего созыва. В своей знаменитой брошюре Иоганн Якоби обратился к провинциальным ландтагам, убеждая их требовать, как своего права, чтобы король выполнил обещание дать конституцию; но ландтаги оставались глухи к его призыву.

Даже рейнский ландтаг бездействовал, и притом как раз по церковно-политическому вопросу, внушавшему правительству наиболее опасений. Большинство двух третей голосов он отклонил предложение, вполне естественное и разумное как с либеральной, так и с ультрамонтанской точки зрения, – или предать суду незаконно арестованного кёльнского архиепископа, или вернуть его в его епархию. Вопрос о конституции вообще не затрагивался; с присланной же ему из Кёльна петицией, покрытой тысячью, если не больше, подписей и требовавшей свободного доступа публики на заседания ландтага, ежедневных и несокращенных газетных отчетов о заседаниях, свободного обсуждения в официозах того, что говорилось на этих заседаниях, и, наконец, закона о печати вместо цензуры, ландтаг поступил самым жалким образом. Он ходатайствовал перед королем лишь о разрешении называть имена ораторов в отчетах о заседаниях ландтага, а также не об упразднении цензуры с заменой ее законом о печати, а лишь о цензурном законе, который бы обуздал произвол цензоров. Трусость ландтага потерпела заслуженную судьбу – король отказал даже в этом.

Ландтаг оживал лишь тогда, когда дело касалось интересов землевладения. Правда, о восстановлении феодального величия напрасно было и думать. Всякие попытки в таком направлении были ненавистны населению рейнских земель; оно их не потерпело бы, как доносили о том в Берлин чиновники, присылаемые на Рейн из восточных провинций. Особенно крепко держалось население рейнских провинций за право свободного дележа земли, не поступаясь им ни в пользу дворянства, ни в пользу «крестьянского сословия», хотя это дробление до бес-

конечности, как не без основания предостерегало правительство, и угрожало привести к распылению земельного фонда. Предложение правительства поставить известные пределы дележу земли, «в видах сохранения сильного крестьянского сословия», было отклонено большинством 49 голосов против 8. Зато ландтаг вознаградил себя на внесенных правительством законах о самовольной рубке леса и всякого рода браконьерстве; тут уж законодательная власть без стыда и совести служила частным интересам крупного землевладения.

Маркс творил суд над рейнским ландтагом по заранее выработанному обширному плану. Первая серия, из шести больших статей, была посвящена прениям о свободе печати и опубликовании прений ландтага. Разрешение оглашать их в печати, не называя имен ораторов, было одной из маленьких реформ, которыми король пробовал подбодрить ландтаги; но он натолкнулся при этом на сильнейшее сопротивление в самих ландтагах. Правда, рейнский ландтаг не заходил так далеко, как бранденбургский и померанский, просто отказавшиеся печатать протоколы своих заседаний; но он тоже обнаружил нелепое самомнение и усматривал в избранных народа существа высшего порядка, не подлежащие прежде всего критике собственных избирателей. «Ландтаг не выносит дневного света. Во мраке частной жизни нам удобнее и уютнее. Раз целая провинция выказывает полное доверие отдельным личностям, вверяя им защиту своих прав, то само собой разумеется, что эти отдельные личности милостиво удастывают принять доверие провинции; но было бы поистине безумно требовать, чтобы они платили тою же монетой и доверчиво отдавали самих себя, свою личность и жизнь на суд провинции». Маркс с обаятельным юмором вышучивал этот «парламентский кретинизм», как он его называл впоследствии, с самого момента его возникновения и всю свою жизнь не выносил его.

Меч, поднятый Марксом в защиту свободы печати, был сверкающий и острый, как ни у одного публициста до и после него. Руге без всякой зависти признавал, что «никогда еще не было сказано ничего более глубокого и не может быть сказано ничего более основательного о свободе печати и в ее защиту. Мы должны поздравить себя с появлением в нашей публицистике статьи, свидетельствующей о столь основательном образовании, размахе и умении превосходно разбираться в обычной путанице понятий». В одном месте Маркс между прочим говорит о привольном, ласковом климате своей родины, и на этих статьях о ландтаге до сих пор лежит светлый отблеск, точно от игры солнечных лучей на прирейнских холмах, покрытых виноградниками. Гегель говорил о «жалкой, все разлагающей субъективности дурной прессы», Маркс же возвращался к буржуазному просвещению, доказывая в «Рейнской газете», что философия Канта – это немецкая теория французской революции; но он возвращался к этому вопросу, обогащенный всеми политическими и социальными перспективами, которые ему открывала историческая диалектика Гегеля. Достаточно сравнить его статьи в «Рейнской газете» с «Четырьмя вопросами» Якоби, чтобы увидеть, как далеко вперед ушел Маркс. О королевском обещании конституции в 1815 г., о котором твердит Якоби, видя в нем альфу и омегу всего конституционного вопроса, Маркс не считал нужным даже упомянуть.

Маркс превозносил свободную печать, как открытые глаза народа, в противоположность подцензурной печати с ее основным пороком, лицемерием, из которого вытекают все прочие недостатки, в том числе и отвратительный даже с эстетической точки зрения порок пассивности; но он не закрывал глаза на опасности, грозившие и свободной печати. Один оратор, из представителей городов, требовал свободы печати как составной части свободы промыслов, и Маркс писал, возражая ему: «Разве печать, унизившуюся до положения ремесла, можно считать свободной? Правда, писателю нужно зарабатывать, чтобы иметь возможность существовать и писать, но он не должен существовать и писать только для того, чтобы зарабатывать... Первое условие свободы печати – не быть ремеслом. Если писатель низводит ее на степень материального средства к жизни, то в наказание за внутреннюю несвободу он заслуживает и внешней кары в виде цензуры, или, вернее, уже самое существование его становится для него карой». Всею своею жизнью Маркс подтвердил то, что он требует от писателя: чтобы труд писа-

теля всегда был самоцелью и менее всего средством к жизни для него и других – настолько, что, если понадобится, писатель обязан жертвовать собственным существованием во имя своего труда.

Вторая серия статей о рейнском ландтаге была посвящена «архиепископской истории», по выражению Маркса в письме к Юнгу. Вся серия целиком была зарезана цензурой и не появилась в печати и потом, хотя Руге и предлагал поместить ее в «Анекдотах». 9 июля 1842 г. Маркс пишет Руге: «Не думайте, что мы живем в политическом Эльдорадо. Нужно много упорства и выдержки, чтоб издавать такую газету, как «Рейнская». Моя вторая статья о ландтаге, касающаяся церковных смут, вычеркнута цензурой. Я доказал в ней, что защитники государства стали на точку зрения церкви, а защитники церкви на государственную точку зрения. Инцидент этот тем более неприятен «Рейнской газете», что глупые кёльнские католики попались бы в ловушку, и защита архиепископа могла поднять подписку. Вы не можете себе представить, какие низости проделывали эти насильники и как вместе с тем глупо они вели себя по отношению к правоверному упрямцу. Но дело увенчалось успехом: кончилось тем, что Пруссия на глазах всего света облобызала папскую туфлю, и наши правительственные машины ходят по улицам, не краснея». Эта заключительная фраза относится к тому факту, что Фридрих Вильгельм IV, обладавший романтическими наклонностями, вступил в мирные переговоры с римской курией, а та в благодарность ответила ему пощечиной по всем правилам ватиканского искусства.

Это письмо Маркса к Руге не следует, однако, толковать в том смысле, что он серьезно защищал архиепископа с целью завлечь кёльнских католиков. Он только был последователен, объясняя бесспорно незаконный арест архиепископа за действия, касавшиеся только церкви, а также требование католиков, чтобы их незаконно арестованный пастырь был предан суду, тем, что защитники государства стали рассуждать как представители церкви, а защитники церкви стояли на государственной точке зрения. Занять правильную позицию в мире спутанных понятий было вопросом жизни для «Рейнской газеты». Маркс объяснял далее в том же письме к Руге, что ультрамонтанская партия, с которой газета яростно боролась на Рейне, была самая влиятельная и опасная, и оппозиция слишком привыкла вести борьбу, оставаясь в пределах церковных интересов.

Третья серия, заключающая в себе пять больших статей, освещала прения ландтага по поводу закона о лесных порубках. В этих статьях Марксу пришлось «спуститься на землю»; он попал, по его собственному признанию, в затруднительное положение, будучи вынужден говорить о материальных интересах, не предвиденных в идеологической системе Гегеля. Проблему, выдвинутую этим законом, он тогда еще не поставил ребром, как сделал бы в позднейшие годы. Дело шло о борьбе надвигавшейся эры капитализма с последними остатками общинного землевладения и о жестокой войне из-за отчуждения собственности у народных масс: из 204 478 уголовных дел, прошедших через суд за 1836 г. в прусском государстве, около 150 000, то есть приблизительно три четверти, были дела о лесных порубках, о захвате выгонов, нарушении законов об охоте и о неприкосновенности лесов.

При обсуждении закона о лесных порубках частное землевладение самым бесстыдным образом отстаивало в рейнском ландтаге свои эксплуататорские интересы и шло даже дальше правительственного законопроекта. Маркс выступил тогда с резкой критикой в защиту «политически и социально обездоленной массы бедняков», но рассуждал еще на основании не экономических, а правовых соображений. Он требовал сохранения за бедняками их обычного права и усматривал основу его в неустойчивом характере некоторых видов собственности, не составляющих ни исключительно частного, ни исключительно общего владения; они представляют собой то соединение частного права с общим, которое мы видим во всех средневековых учреждениях. Разум упразднил эти промежуточные, неустойчивые виды собственности, применив к ним взятые из римского права категории отвлеченного гражданского права; но в обычном

праве, которого держатся беднейшие классы населения, живет инстинктивное правовое чувство. Корни его подлинны и законны.

Если, в смысле исторического понимания, эта серия статей Маркса носит еще «несколько неустойчивый характер», то все же, или, вернее, именно этим, она показывает, что по существу более всего волновало великого борца за «беднейшие классы». Описывая низости, которыми лесовладельцы отстаивали свои частные интересы, попирали логику и разум, закон и право, а также в значительной степени интересы государства, рассказывая, как они наживались за счет бедняков, Маркс проявляет глубокое негодование оскорбленной души. «Чтобы обеспечить поимку браконьера, ландтаг не только переломал у закона руки и ноги, но и пробуравил ему сердце». На этом примере Маркс хотел показать, чего можно ожидать от сословного представительства частных интересов, если бы его серьезно призвали к делу законодательства.

При этом Маркс все еще крепко держался гегелевской философии права и государства. Он, конечно, не уподоблялся правоверным последователям Гегеля и не восхвалял прусское государство, возводя его в идеал; гегельянство его заключалось в том, что он применял к прусскому государству мерку идеального государства, которое вытекало из философских предпосылок Гегеля. Маркс рассматривал государство как большой организм, в котором осуществляется правовая, политическая и нравственная свобода и в котором отдельный гражданин, повинувшись законам государства, повинувается лишь естественным законам собственного человеческого разума. Этот принцип оказался еще применимым к разбору прений ландтага о лесных порубках; Маркс справился бы в том же духе и с четвертой статьей, обсуждавшей закон против браконьерства; но в пятой статье, которая должна была венчать все здание и поставить во весь рост земельный вопрос – вопрос о раздроблении земельной собственности, – такая точка зрения оказалась бы неприменимой. Вместе с буржуазией рейнских провинций Маркс стоял за свободный дележ земли; ограничить свободу крестьянина, не давая ему раздроблять свою землю, значило бы присоединить к его физической нищете еще и правовую. Но правовая точка зрения не решала вопроса; французский социализм давно указывал на то, что неограниченное дробление земельных участков создает беспомощный пролетариат, и ставил такое дробление на одну доску с атомистическим обособлением ремесел. Касаясь этого вопроса, Маркс непременно должен был выяснить свое отношение к социализму.

Он, несомненно, сознавал эту необходимость и, разумеется, не уклонился бы от нее, если бы выполнил полностью весь план своих работ в «Рейнской газете». Но это ему не удалось. Когда печаталась третья серия его статей в «Рейнской газете», Маркс сделался уже ее редактором и столкнулся лицом к лицу с загадкой социализма, прежде чем успел разрешить ее.

Пять месяцев борьбы

В течение лета «Рейнская газета» предприняла несколько маленьких экскурсий в область социальных вопросов – по всей вероятности, по инициативе Мозеса Гесса. Один раз она перепечатала, относя ее «к важному злободневному вопросу», статью о берлинских жилищах из газеты Вейтлинга; в другой раз, печатая отчет о съезде ученых в Страсбурге, на котором также затронуты были социалистические вопросы, газета прибавила несколько незначущих слов о том, что если неимущие домогаются богатств, которыми владеет среднее сословие, то это можно сравнить с борьбой средних классов против дворянства в 1789 г.; только на этот раз вопрос будет разрешен мирным путем.

Но и этих невинных поводов достаточно было для «Аугсбургской всеобщей газеты», чтобы обвинить «Рейнскую газету» в заигрывании с коммунизмом. У нее самой была нечиста совесть по этой части; она помещала гораздо более горячий материал, выходящий из-под пера Гейне, о французском социализме и коммунизме; но «Аугсбургская газета» была единственным немецким органом, имевшим некоторое национальное и даже международное значение, а «Рейнская газета» являлась угрозой ее господствующему положению. И хотя мотивы ее резких нападок были далеко не возвышенные, все же нападение сделано было зло и довольно искусно. Наряду с разными шуточками насчет богатых купеческих сынков, которые в простоте души играют в социалистические идеи, отнюдь, однако, не собираясь разделить свое имущество с кельнскими ремесленниками и грузчиками, был выдвинут и более серьезный козырь. «Аугсбургская газета» доказывала, что надо иметь ребяческое представление о вещах и кашу в голове, чтобы в столь отсталой стране, как Германия, грозить среднему классу, едва начинающему свободно дышать, судьбой французского дворянства 1789 г.

Дать отпор этим злостным нападкам было первой задачей Маркса, когда он сделался редактором, и задачей довольно затруднительной. У него не было никакого желания прикрывать чужие «благоглупости», которые и самому ему казались таковыми; но в то же время ему нельзя было высказать собственного суждения о коммунизме. Поэтому он старался, по мере возможности, перенести войну в лагерь противника, указывая на коммунистические поползновения самой «Аугсбургской газеты». Но он при этом честно сознавался, что «Рейнской газете» не дано одной фразой одолеть задачи, над разрешением которых трудятся два народа. За коммунистическими идеями в их теперешнем виде, писал он, газета не признает даже теоретической реальности и, следовательно, не только не желает, но даже не считает возможным практическое их осуществление; но тем не менее она намерена подвергнуть их продуманному критическому разбору, «на основе глубокого и продолжительного изучения», ибо писания Леру, Консидерана и, прежде всего, остроумное произведение Прудона не таковы, чтобы судить о них на основании первых поверхностных впечатлений.

Правда, впоследствии Маркс говорил, что эта полемика отравила ему работу в «Рейнской газете» и он «с жадностью» ухватился за возможность вновь вернуться к своей кабинетной деятельности. Но при этом он, как это часто бывает с воспоминаниями, слишком приблизил причину к следствию. В то время Маркс был еще всей душой предан своей редакторской работе, и она казалась ему настолько важной, что он способен был порвать из-за нее со своими старыми берлинскими товарищами. С ними не было никакого сладу с тех пор, как, благодаря смягчению цензурного устава, докторский клуб, где все же «процветали умственные интересы», превратился в общество так называемых «свободных». Там собирались чуть ли не все домартовские литераторы, проживавшие в прусской столице, и разыгрывали роль политических и социальных революционеров в образе сорвавшихся с цепи филистеров. То, что происходило в докторском клубе, тревожило Маркса еще летом; он говорил, что провозгласить себя свободным – это одно, и это требование совести; но трубить о своей свободе на весь мир –

значит искать дешевой славы, а это уже иное дело. К счастью, думал он, в Берлине Бруно Бауэр; он позаботится о том, чтобы по крайней мере члены клуба не делали «глупостей».

Маркс, к сожалению, ошибся. Кеппен действительно держался в стороне от бесчинства «свободных»; но Бруно Бауэр был заодно с ними и даже не стеснялся играть роль знаменосца в их скоморошествах. Уличные процессии нищих, которые они устраивали, скандальные выходы в кабаках и притонах, непристойное издевательство над беззащитным священником, которому Бруно Бауэр во время венчания Штирнера подал медные кольца от своего вязаного кошелька и сказал, что они отлично могут заменить обручальные кольца, – все это делало «свободных» предметом наполовину удивления, наполовину ужаса для робких филистеров; но вместе с тем это непоправимо вредило делу, которому они будто бы служили.

Такого рода проказы, достойные уличных мальчишек, отражались, конечно, самым губительным образом на умственной работе «свободных», и Марксу приходилось много возиться с их статьями, предназначенными для «Рейнской газеты». Многие из этих статей чиркал красный карандаш цензора, но – так писал Маркс Руге – «не меньше цензора вычеркивал и я, ибо вместо статей Мейен и его сотоварищи засыпали нас безмозглой болтовней о мировом перевороте, в неряшливом стиле, с приправою атеизма и коммунизма (которого эти господа никогда не изучали). При Рутенберге, бездарном редакторе, совершенно лишенном критического чутья и самостоятельности, они привыкли смотреть на „Рейнскую газету“ как на свой собственный безвольный орган; но я не считаю себя вправе поощрять долее это водoleyство на старый лад». Такова была первая причина, по которой «нахмурилось небо в Берлине», как выражался Маркс.

Окончательный разрыв произошел в ноябре 1842 г., когда Гервег и Руге приехали в Берлин. Гервег совершал в то время свой триумфальный объезд Германии; в Кёльне он познакомился и быстро подружился с Марксом; в Дрездене встретился с Руге и с ним вместе поехал в Берлин. Там им, вполне естественно, пришлось не по душе бесчинства «свободных»; Руге рассорился со своим сотрудником Бруно Бауэром, который хотел убедить его в «величайших нелепостях», вроде того, что государство, собственность и семью следует считать упраздненными как понятия, причем совершенно не важно, что с ними будет в действительности. Не понравились «свободные» и Гервегу, и за его неуважительное к ним отношение они отомстили поэту тем, что всячески вышучивали его аудиенцию у короля и его помолвку с богатой наследницей.

Обе стороны пытались перенести свой спор в «Рейнскую газету». Гервег, с ведома и согласия Руге, просил поместить заметку, в которой признавал, что «свободные», каждый в отдельности, большей частью отличные люди; но он прибавлял, что они, как откровенно заявили им и он сам, и Руге, своей политической романтикой, притязаниями на гениальность и бесцеремонным рекламированием себя вредят делу и партии свободы. Маркс поместил эту заметку в своей газете, после чего Мейен, от лица «свободных», стал засыпать его грубыми письмами.

Маркс отвечал вначале по существу, стараясь направить сотрудничество «свободных» в газете на надлежащий путь: «Я требовал, чтобы в их статьях было меньше туманных рассуждений, громких фраз и самолюбования и больше определенности, знания дела и проникновения в его конкретную сущность. Я заявил им, что считаю неудобным, даже безнравственным, контрабандное подсовывание коммунистических и социалистических догм, то есть нового мировоззрения, в случайных театральных рецензиях и т. под., и требовал совсем иного, более серьезного отношения к коммунизму, если они хотят обсуждать его. Далее, я выразил пожелание, чтобы, критикуя религию, выдвигали на первый план критику политических условий, а не критиковали политические условия в религии, ибо первое более соответствует сущности газеты и уровню образования ее читателей; религия, сама по себе лишенная содержания, живет не небом, а землей и рушится сама собой с распадом извращенной действительности, теорию

которой она представляет. И наконец, я хотел, чтобы, говоря о философии, сотрудники наши не столько заигрывали с атеизмом (как дети, которые уверяют всех и каждого, что ни капельки не боятся „буки“), сколько старались ознакомить массы с содержанием этого учения». Из этих объяснений видно, какими принципами руководился Маркс, редактируя «Рейнскую газету».

Однако, прежде чем его советы дошли по назначению, Маркс получил «предерзкое письмо» от Мейена с требованием ни более ни менее как того, чтобы газета не «приспособлялась», а шла «на все крайности» – иными словами, на закрытие, в угоду «свободным». Это «наконец» вывело из терпения Маркса, и он написал Руге: «Во всем этом просвечивает ужасающее тщеславие; оно не желает понять, что ради спасения политического органа не грех пожертвовать несколькими берлинскими вертопрахами, да и вообще ни о чем не думает, кроме своей кружковщины... А мы здесь с утра до ночи терпим жесточайшие притеснения от цензуры, принуждены отписываться в министерство, давать ответы на обвинения обер-президиума, на жалобы ландтага и вопли пайщиков. Я остаюсь на своем посту лишь потому, что считаю долгом, поскольку это от меня зависит, мешать властям в осуществлении их замыслов, и неудивительно, что я несколько раздражен и ответил Мейену довольно резко». Фактически это был разрыв с «свободными», которые, в политическом смысле, все кончили более или менее печально – начиная от Бруно Бауэра, который сделался впоследствии сотрудником «Крестовой газеты», до Эдуарда Мейена; последним умер редактором «Данцигской газеты» и сам убого подтрунивал над своей загубленной жизнью, говоря, что ему дозволено издеваться только над протестантскими ортодоксами (игра на слова *ortod* – *oxen*; по-немецки *Ochs* – бык), ибо критиковать папские буллы запрещает либеральный редактор газеты, щадя чувства католиков-подписчиков. Прочие «свободные» пристроились в официозах или даже в официальных изданиях, как, например, Рутенберг, который несколько десятков лет спустя умер редактором «Прусского государственного вестника».

Но в то время, осенью 1842 г., Рутенберга еще боялись, и правительство требовало его удаления. Все лето газету терзали цензурными придирками, но еще не закрывали ее в надежде, что она умрет естественной смертью. 8 августа рейнский обер-президент фон Шапер представил в Берлин сведения, что число подписчиков «Рейнской газеты» упало до 885. Но 15 октября редактирование «Рейнской газеты» перешло к Марксу, и 10 ноября Шапер уже сообщает, что число подписчиков неудержимо растет: с 885 оно повысилось до 1820, а направление газеты становится все более дерзким и враждебным правительству. Вдобавок в редакцию «Рейнской газеты» был доставлен крайне реакционный законопроект о браке, и она его напечатала. Король был чрезвычайно озлоблен преждевременным оглашением законопроекта, тем более что предполагавшееся затруднение развода вызывало большое недовольство населения. Король потребовал, чтобы газете пригрозили закрытием, если она не назовет лицо, доставившее ей законопроект; но министры знали заранее, что она не пойдет на такое унижение, и не желали доставить ненавистной газете венец мученичества. Они удовольствовались тем, что выслали из Кёльна Рутенберга и, в виде наказания, потребовали назначения ответственного редактора, который бы подписывал газету вместо издателя Ренара. Одновременно с этим на место цензора Доллешалля, известного своей ограниченностью, назначен был ассессор Витхаус.

30 ноября Маркс пишет Руге: «Рутенберг, которого мы уже отставили от заведования немецким отделом (где его деятельность заключалась главным образом в расстановке знаков препинания) и которому только по моему ходатайству дали французский отдел, – этот самый Рутенберг, благодаря чудовищной глупости наших государственных властей, имел счастье прослыть опасным, хотя на самом деле он не был опасен ни для кого, кроме „Рейнской газеты“ и себя самого. Власти потребовали его удаления во что бы то ни стало. Заботливое прусское провидение, этот *despotisme prussien, le plus hypocrite, le plus fourbe* избавил издателя Ренара от неприятной сцены, и теперь новый мученик, уже довольно виртуозно разыгрывающий свою роль, усвоив себе соответствующие позы, язык и выражения лица, старается извлечь всевоз-

можные выгоды из своего мученичества. Он пишет в Берлин и во все концы света, что с ним уходит из „Рейнской газеты“ самый дух ее и что теперь газета займет иную позицию по отношению к правительству». Маркс говорит об этом инциденте в том смысле, что он обострил разрыв с берлинскими «свободными»; насмешки над «мучеником» Рутенбергом, однако, слишком злы и не вполне справедливы.

Слова Маркса о том, что удаления Рутенберга требовали «во что бы то ни стало» и что издатель был избавлен благодаря этому от «неприятной сцены», можно понять только в том смысле, что редакция подчинилась насилию и воздержалась от всякой попытки сохранить Рутенберга. Такая попытка не имела, конечно, никаких шансов на успех, и вполне разумно было избавить издателя от «неприятной сцены»: этот книготорговец, чуждый политике, был неподходящим человеком для протокольного допроса. Письменный протест против угрозы закрытия газеты только подписан им, а составил его Маркс, как видно по рукописному черновику, хранящемуся в кёльнском городском архиве.

В этом документе сказано, что газета, «подчиняясь насилию», соглашается на удаление Рутенберга и назначение ответственного редактора и выражает готовность сделать все возможное, чтобы спасти себя от гибели, – поскольку это совместимо с достоинством независимого органа печати. Она обещает соблюдать больше сдержанности в формах изложения, поскольку это будет допускать содержание. Протест составлен очень осторожно и дипломатично. Другого такого примера дипломатической осторожности, конечно, не найти в жизни Маркса; но если несправедливо придирается к каждому слову, то не менее несправедливо было бы утверждать, что, составляя протест, Маркс особенно насилует тогдашние свои убеждения. Этого не было даже в словах о пруссофильском настроении газеты. Помимо полемики с враждебной Пруссии «Аугсбургской всеобщей газетой» и агитации «Рейнской газеты» за включение в таможенный союз и Северо-Западной Германии, прусские симпатии сказывались прежде всего в постоянном упоминании заслуг северогерманской науки в противоположность поверхностному характеру французской науки и южногерманских учений. «Рейнская газета», говорится в протесте, первый рейнский и вообще южногерманский орган печати, «который силится привить на юге северогерманский дух и тем содействует духовному объединению разделенных племен».

Ответ обер-президента Шапера был довольно немилостивый: даже если Рутенберг немедленно же будет удален, заявил он, и на место его посажен более подходящий редактор, то окончательное разрешение на издание будет зависеть от дальнейшего поведения газеты. Для приискания нового редактора срок был дан до 12 декабря, но до этого дело не дошло, ибо в половине декабря возгорелась новая война. Две корреспонденции из Бернкастеля о плачевном положении мозельских крестьян вызвали со стороны Шапера грубые по форме и ничтожные по содержанию опровержения. «Рейнская газета» попыталась еще раз встретить невзгоду с веселым лицом и похвалила опровержения за «спокойно-достойный тон», посрамляющий сыщиков и столь же способный «рассеять недоверие, как и укрепить доверие». Но, собрав предварительно необходимый материал, газета поместила в половине января одну за другой пять статей, в которых приводились неопровержимые доказательства жестокого отношения правительства к жалобам мозельских крестьян. Чиновник, стоявший во главе рейнской провинции, был этим совершенно посрамлен. В утешение ему совет министров, в присутствии короля, уже 21 января 1843 г. постановил закрыть газету. Под конец года произошло несколько инцидентов, окончательно разгневавших короля: сентиментально-дерзкое письмо, присланное ему Гервегом из Кёнигсберга и напечатанное в «Лейпцигской газете» без ведома и против воли автора, оправдание Иоганна Якоби верховным судом по обвинению в государственной измене и оскорблении величества и, наконец, новогоднее заявление «Немецкого ежегодника», что они стоят за «демократию и ее практические задачи». «Ежегодник» тотчас же был запрещен, так же как запрещена была в Пруссии «Лейпцигская всеобщая газета». А затем решили заодно при-

крыть и «блудную сестру ее на Рейне», тем более что она высказалась очень резко по поводу закрытия первых двух газет.

Формально газету закрыли под предлогом, что у нее нет концессии – «как будто в Пруссии, где ни одна собака не может жить без разрешения полиции, «Рейнская газета» могла существовать хоть день без наличности официальных условий жизни», как говорил Маркс; «фактической же причиной» послужили те же старо- и новопруссские песни о возмутительном направлении, «старый вздор о вредном образе мыслей, пустых теориях и т. д.», как издевался Маркс. В интересах пайщиков газете разрешено было все-таки выходить до истечения четверти года. «Смертная казнь отсрочена, но газета отдана под двойную цензуру, – писал Маркс Руге. – Наш цензор, человек весьма почтенный, в свою очередь, подчинен цензуре здешнего статс-президента, фон Герляха, болвана, пассивно выполняющего приказания начальства; таким образом, наша газета препровождается в полицию уже в готовом виде, и если полицейский нюх все же учует в номере что-нибудь нехристианское или недостаточно прусское, то газету не выпускают». Ассессор Витхаус был человек очень порядочный и отказался от обязанностей цензора, за что кёльнский певческий кружок почтил его серенадой. На место его был прислан из Берлина секретарь министерства Сен-Поль, и он с таким усердием выполнял обязанности палача, что уже 18 февраля двойная цензура оказалась излишней и была упразднена.

Запрещение газеты было принято как оскорбление, нанесенное всей рейнской провинции. Число подписчиков сразу возросло до 3200, и в Берлин полетели петиции, покрытые тысячами подписей, с ходатайствами об отвращении грозящего удара. Поехала в Берлин и депутация от пайщиков, но не была принята королем. Точно так же бесследно исчезли бы в мусорных корзинах министерства петиции населения, если бы они не вызвали крутых мер против чиновников, которые их подписывали. Но хуже всего было то, что пайщики надеялись достичь пониженным тоном газеты то, чего не удавалось добиться уговорами; это обстоятельство главным образом и побудило Маркса уже 17 марта сложить с себя обязанности редактора – что, разумеется, не помешало ему до последней минуты отравлять жизнь цензуре.

Сен-Поль был молодой человек – богема по своему образу жизни. В Берлине он кутил с «свободными», а в Кёльне ввязывался в драки с ночными сторожами у дверей притонов. Но он был неглупый малый и скоро докопался, в чем «доктринерский центр» «Рейнской газеты» и «живительный источник» ее теорий. В своих донесениях в Берлин он с невольным уважением отзывался о Марксе; ум и характер Маркса, видимо, внушали ему большое почтение, хотя он и утверждал, что открыл в нем «глубокую ошибку мышления». 2 марта Сен-Поль уже сообщил в Берлин, что Маркс решил, «ввиду обстоятельств», окончательно порвать с «Рейнской газетой» и покинуть Пруссию; берлинские мудрецы ответили, что это небольшая потеря для Пруссии, так как «ультрадемократические взгляды Маркса совершенно несовместимы с основными принципами прусского государства», что, конечно, совершенно верно. И 18 марта достойный цензор торжествовал победу: «Spiritus rector всего предприятия, доктор Маркс, вчера окончательно вышел из состава редакции, и место его занял Оппенгейм, весьма умеренный и, в общем, заурядный человек... Я очень рад этому, так как теперь у меня уходит на цензурование газеты вчетверо меньше времени, чем прежде». Он даже написал в Берлин, делая этим лестный комплимент ушедшему редактору, что теперь, когда ушел Маркс, можно спокойно предоставить газете выходить по-прежнему. Начальство Сен-Поля оказалось, однако, еще трусливее, чем он сам: ему предложено было тайно подкупить редактора «Кёльнской газеты», некоего Гермеса, и запугать ее издателя, которому успех «Рейнской газеты» грозил серьезной конкуренцией; и эта коварная проделка удалась.

Сам Маркс уже 25 марта – день, когда в Кёльне получено было известие о закрытии «Рейнской газеты», – пишет Руге: «Меня это не удивило. Вы знаете мое мнение о цензуре. Я считаю закрытие „Рейнской газеты“ вполне последовательным шагом, вижу в нем прогресс политического сознания, и это меня примиряет. Кроме того, атмосфера в газете была слишком

душная для меня. Тяжело холопствовать даже ради свободы и бороться булавками вместо прикладов. Я устал от лицемерия, глупости, грубости властей, устал подлаживаться, гнуть спину и придумывать безопасные слова. Итак, правительство снова отпустило меня на свободу. В Германии мне больше нечего делать. Здесь изменяешь самому себе».

Людвиг Фейербах

В этом же письме Маркс извещал о получении сборника, в котором он поместил первую свою политическую статью. Сборник этот был в двух томах и носил заглавие «Анекдоты» (очерки по новейшей германской философии и публицистике), изданные в начале марта 1843 г. Литературным бюро в Цюрихе. Издательство это было основано Юлиусом Фребелем, как убежище для бежавших от немецкой цензуры.

В этом сборнике еще раз проходит перед читателями старая гвардия младогегельянцев, хотя уж и не стройными рядами. И среди них выступает смелый мыслитель, похоронивший всю философию Гегеля; он объявил «абсолютный разум» отжившим духом богословия и, следовательно, чистейшей верой в привидения и полагал, что все тайны философии разрешаются созерцанием человека и природы. «Предпосылки к реформе философии» Людвиг Фейербаха, напечатанные в «Анекдотах», были откровением и для Маркса.

Фейербах имел, несомненно, огромное влияние на умственное развитие Маркса в молодости, и Энгельс впоследствии вел начало этого влияния от знаменитой книги Фейербаха «Сущность христианства», вышедшей в свет уже в 1841 г. Об «освободительном влиянии» этой книги, которое надо было пережить самому, чтобы составить себе представление о нем, Энгельс говорит в следующих словах: «Мы все были в восторге, и все стали на время последователями Фейербаха». Но в тех статьях, которые Маркс помещал в «Рейнской газете», еще не чувствуется влияние Фейербаха; Маркс «восторженно приветствует» новое миропонимание, несмотря на все критические оговорки, только в «Немецко-французских ежегодниках», которые стали выходить в феврале 1844 г. и уже в самом заглавии своем обнаруживали некоторую связь с ходом мыслей Фейербаха.

«Предпосылки», несомненно, уже содержатся в «Сущности христианства», и в этом смысле несущественно, если Энгельс и ошибся в своих воспоминаниях. Но не безразлична его ошибка тем, что она затуманивает духовную связь между Фейербахом и Марксом. Фейербах не переставал быть борцом оттого, что чувствовал себя хорошо лишь в одиночестве и на лоне природы. Подобно Галилею, он полагал, что город – тюрьма для натур, склонных к созерцанию; напротив того, жизнь в деревне, на свободе, разворачивает книгу природы перед глазами всякого, кто умеет читать ее. Подобными словами Фейербах защищался всегда от нападков на его уединенную жизнь в Брукберге; он любил сельское уединение не в смысле старой миролюбивой поговорки: «Счастлив тот, кто живет в тиши», а потому, что в одиночестве и тишине черпал силы для борьбы; как мыслитель, он чувствовал потребность сосредоточиться, уйти от шумной житейской суеты, для того чтобы она не отвлекала его от созерцания природы, великого первоисточника жизни и тайн ее.

Живя в сельской тиши, Фейербах все же принимал участие в великой борьбе своего времени и стоял в первых рядах борцов. Его статьи в газете Руге были самые резкие. В «Сущности христианства» он доказывал, что не религия создает человека, а человек религию, что существа высшего порядка, созданные нашей фантазией, лишь призрачное отражение нашего собственного существа. Когда эта книга вышла в свет, Маркс выступил на арену политической борьбы, и она привела его на базар житейской суеты; такую борьбу нельзя было вести тем оружием, какое выковал Фейербах в своей книге о христианстве. Но в то время, когда гегелевская философия оказалась неспособной разрешить материальные вопросы, с которыми столкнулся Маркс в «Рейнской газете», вышли фейербаховские «Предпосылки к реформе философии»; они нанесли смертельный удар гегелевской философии, как последнему прибежищу, последней рациональной опоре богословия. Этим они произвели глубокое впечатление на Маркса, хотя он и оставил за собой право критического отношения.

В письме от 13 марта он пишет Руге: «Фейербаховские афоризмы мне только тем не нравятся, что он слишком много говорит о природе и слишком мало о политике. А между тем то единственный союз, при посредстве которого нынешняя философия может стать истиной. Но, вероятно, произойдет то же, что было в шестнадцатом веке, когда наряду с восторженными поклонниками природы были восторженные поклонники государства». И действительно, Фейербах в своих «Предпосылках» лишь мимоходом касается политики, причем скорее идет позади, чем впереди Гегеля. И тут его продолжателем становится Маркс, исследовавший гегелевскую философию права и государства так же основательно, как Фейербах исследовал его философию природы и религии.

И еще в одном месте письмо Маркса к Руге от 13 марта показывает, как сильно было в то время влияние Фейербаха на Маркса. Как только для него стало ясно, что он не может писать под гнетом прусской цензуры и дышать в прусском воздухе, он сразу же решил не уезжать из Германии без своей невесты. Уже 25 января Маркс запрашивает Руге, может ли он рассчитывать, что найдет работу в «Немецком вестнике», который Гервег в то время собирался издавать в Цюрихе; но издание не осуществилось, так как Гервега выслали из Цюриха. Руге предложил тогда другие планы совместной работы, в том числе общее редактирование преобразованного и переименованного «Ежегодника», и звал Маркса приехать в Лейпциг по окончании его «редакционной пытки» для личных переговоров о «месте нашего возрождения».

В письме от 13 марта Маркс принимает предложение приехать, а «пока» высказывается о «нашем плане» следующим образом: «Когда Париж был взят, некоторые предлагали посадить на престол сына Наполеона, учредив регентство, другие – Бернадота, третьи, наконец, Луи Филиппа. Но Талейран ответил: или Людовик XVIII, или Наполеон. Это – принцип, а остальное все – интрига; так и для меня, кроме Страсбурга или, в крайнем случае, Швейцарии, почти все другое не принцип, а интрига. Книги больше чем в двадцать листов пишутся не для народа. Самое большое, на что еще можно было бы рискнуть, – это издание ежемесячного журнала. Если даже нам и разрешат снова издавать „Немецкие ежегодники“, они будут в лучшем случае слабым отголоском покойного журнала, а для наших дней этого недостаточно. Наоборот, „Немецко-французские ежегодники“ – это был бы принцип, это было бы крупное событие, предприятие, которым можно увлечься». Тут чувствуется отголосок «Предпосылок» Фейербаха – его слов о том, что истинный философ, сливающийся с жизнью, с человеком, должен быть галло-германской крови. Нужно, чтобы сердце у него было французское, а голова немецкая. Голова реформирует, сердце революционизирует. Только там, где есть движение, порыв, страсть, кровь и чувственность, – там и дух. Только живой ум Лейбница, его сангвинический, материалистически-идеалистический дух впервые вырвал немцев из-под власти одолевших их педантизма и схоластики.

В своем ответе от 19 марта Руге высказывает полное согласие с этим «галло-германским принципом», но устройство деловой стороны предприятия затянулось все же еще на несколько месяцев.

Женитьба и изгнание

В бурный год своих первых битв на арене общественной борьбы Марксу приходилось бороться и со многими домашними невзгодами. Он говорил об этом неохотно и всегда лишь в случаях крайней необходимости. В противоположность жалкому жребию филистера, для которого его мелкие делишки заслоняют и мир, и Бога, ему было дано забывать самые горькие беды в служении «великим целям человечества». Жизнь давала ему в избытке случаи упражняться в этой способности.

Уже в первом дошедшем до нас упоминании о «частных пустяках» чрезвычайно характерно отразился взгляд Маркса на все касающееся его личной жизни. Извиняясь перед Руге за неписылку обещанных статей для «Анекдотов», в письме от 9 июля 1842 года, Маркс перечисляет разные помехи и потом прибавляет: «Остальное время я был занят и расстроен несноснейшими семейными распрями. Мои родные устраивали мне всяческие затруднения, и, несмотря на то что они люди состоятельные, я в данный момент оказался в очень стесненных обстоятельствах. Я, разумеется, не стану докучать вам рассказом об этих частных пустяках. Положительно счастье, что человеку с характером несвойственно раздражаться личными неприятностями, когда столько гадостей творится в общественной жизни». Филистеры, столь близко принимающие к сердцу все личное, издавна выставляли именно это проявление необычайной силы характера как доказательство «бессердечности» Маркса.

Мы не знаем, в чем заключались подробности этих «несноснейших семейных распрей»; Маркс только один раз еще, и опять лишь в общих словах, упоминает о них – при переговорах об издании «Немецко-французских ежегодников». Он пишет Руге, что как только план издания твердо определится, он поедет в Крейцнах, где живет мать его невесты со времени смерти своего мужа, и там женится; после свадьбы он собирался пожить еще несколько времени у своей тещи, так как «надо же нам иметь в запасе несколько готовых работ, прежде чем приступить к делу... Без всякой романтики могу заверить вас, что я влюблен по уши и не на шутку. Я уже семь лет как помолвлен, и моя невеста выдержала из-за меня немало жестоких битв, почти подточивших ее здоровье; ей приходилось бороться со своими аристократическими и благочестивыми родственниками, для которых „Господь на небе“ и „властитель в Берлине“ предметы одинакового религиозного поклонения, – а также и с моей семьей, в которой угнездились несколько попов и других моих врагов. Таким образом, мне и моей невесте пришлось вести годами больше ненужной и утомительной борьбы, чем многим другим, второе старшим нас и постоянно кричащим о своем „жизненном опыте“». Кроме этого намека, Маркс нигде не говорит о той борьбе, которую ему пришлось выдержать до женитьбы.

Издание нового журнала наладилось не без труда, но все же сравнительно быстро. Марксу даже не пришлось ездить в Лейпциг. Фребель решился взять на себя издательство после того, как довольно состоятельный Руге вошел компаньоном в Литературное бюро и внес 6000 талеров. Марксу назначили редакторское жалованье в 500 талеров в год. С такими видами на будущее он обвенчался со своей Женни 19 июня 1843 г.

Место издания «Немецко-французского ежегодника» все еще не было установлено. Выбор колебался между Брюсселем, Парижем и Страсбургом. Эльзасский город больше всего улыбался молодой чете, но в конце концов, после того как Фребель и Руге предварительно побывали в Париже и в Брюсселе, решено было перенести издание в Париж. Правда, в Брюсселе печать была более свободна, чем в Париже, где действовали система залогов и сентябрьские законы; но зато в столице Франции редакция была ближе к немецкой жизни, чем в Брюсселе. Подбадривая Маркса, Руге писал ему, что в Париже он отлично проживет на 3000 франков или немногим больше.

Согласно своему намерению, Маркс провел первые месяцы своего брака в доме тещи, а в ноябре молодые переехали в Париж. Последний отголосок его пребывания на родине – письмо от 23 октября 1843 г. из Крейцнаха Фейербаху, которого он просил написать для первого номера «Ежегодника» критическую статью о Шеллинге. «Из вашего предисловия ко второму изданию „Сущности христианства“ я вижу, что у вас есть что сказать об этом вертопрахе. И это было бы превосходное начало. Г. Шеллинг необычайно ловко поймал на свою удочку французов, сначала слабого, эклектичного Кузена, а затем даже и гениального Леру. Для Пьера Леру и подобных ему Шеллинг все еще тот, кто заменил трансцендентный идеализм разумным реализмом и отвлеченное мышление живой мыслью, облеченной плотью и кровью, кто на место специальной философии поставил философию мироздания... И поэтому вы окажете большую услугу не только нашему изданию, но еще больше истине, если дадите в первом же номере журнала характеристику Шеллинга. Вы самый подходящий для этого человек, потому что вы – противоположность Шеллингу. Юношеская идея Шеллинга, скажем, даже искренняя – лучше предполагать хорошее о своем противнике, – но для осуществления ее у него не было иных данных, кроме воображения, иной энергии, кроме тщеславия, иных возбудителей, кроме опиума, иного органа, кроме женской восприимчивости. Эта искренняя юношеская идея Шеллинга претворена вами в истину, в действительность, сделалась мужественно подлинной... Я поэтому считаю вас необходимым, естественным, призванным их величествами природой и историей противником Шеллинга...» До чего приветливо написано это письмо, и как ярко горит в нем радостная надежда на великую борьбу!

Но Фейербах колебался. Он сначала выражал и Руге свое сочувствие его новому журналу, но потом отказался от сотрудничества; и ссылка на его же «галло-германский принцип» не убедила его. Его писания более всех других возбудили гнев властей, и полицейская дубинка убивала свободу философской мысли, поскольку она еще существовала в Германии; философская оппозиция принуждена была поэтому спасаться бегством за границу, если не хотела трусливо сдаться.

Сдаваться Фейербах, конечно, не хотел, но он не решался и на смелый прыжок в волны, омывавшие немецкую мертвую землю. День, когда Фейербах дал хотя дружественный и участливый, но все же отрицательный ответ на пламенный призыв Маркса, был его черным днем. С этого дня он обрек себя и на духовное одиночество.

Глава 3. Парижское изгнание

«Немецко-французские ежегодники»

Новый журнал родился не под счастливой звездой: только один двойной выпуск его вышел в конце февраля 1844 г.

«Галло-германский принцип», или, как его переименовал Руге, «интеллектуальный союз между немцами и французами», не осуществлялся на деле; «политический принцип Франции» пренебрегал немецким приданым, «логической проницательностью» гегелевской философии, вместо того чтобы пользоваться ею, как надежным компасом в сферах метафизики, и Руге видел, как французы носились по ним без руля, по воле ветра и волн.

Правда, если, по свидетельству Руге, предполагалось привлечь прежде всего Ламартина, Ламенэ, Луи Блана, Леру и Прудона, то уже этот список был сам по себе достаточно пестрый. Некоторое представление о немецкой философии имели из них только Леру и Прудон, из которых первый жил в провинции, а второй временно забросил писательство и углубился в изобретение наборной машины. Другие же отказались от сотрудничества по тем или иным религиозным соображениям. Отказался даже Луи Блан, считая, что атеизм в философии порождает анархизм в политике.

Зато журнал приобрел видный штаб немецких сотрудников; вместе с издателями в него вошли Гейне, Гервег, Иоганн Якоби из имен первого ранга, а затем заметные люди из числа менее известных, как, например, Мозес Гесс и Ф.К. Бернайс, молодой пфальцский юрист, не говоря о самом молодом из сотрудников, Фридрихе Энгельсе. После многократных литературных разбегов он вышел здесь впервые в бой с открытым забралом и в сверкающих доспехах. Но и эта группа была достаточно пестрая; многие из сотрудников весьма мало смыслили в гегелевской философии и еще менее в ее «логической проницательности». И прежде всего между двумя издателями вскоре произошел раскол, сделавший невозможной всякую дальнейшую совместную работу.

Первый двойной выпуск журнала, оставшийся единственным, открылся «Перепиской» между Марксом, Руге, Фейербахом и Бакуниным, молодым русским, который примкнул в Дрездене к Руге и поместил в «Немецком ежегоднике» статью, обратившую на себя большое внимание. Переписка состояла из восьми писем, подписанных инициалами авторов; из них три письма были Маркса, три Руге и по одному Фейербаха и Бакунина. Руге назвал впоследствии эту «Переписку» драматической сценой своего сочинения, добавив, что он пользовался для нее «отчасти отрывками подлинных писем». Он включил «Переписку» в собрание своих сочинений, но с весьма характерными большими искажениями и опустив последнее письмо за подписью Маркса, хотя в нем смысл всей «Переписки». Содержание писем не оставляет никаких сомнений в подлинном авторстве тех, чьи инициалы значатся в подписях, и, поскольку «Переписка» представляет собой нечто цельное, первая скрипка в этом концерте принадлежала Марксу; бесспорно, однако, что Руге обработал по-своему и его письма, как и письма Бакунина и Фейербаха.

Марксу принадлежит в «Переписке» заключительное слово, и он же начинает ее очень внушительным аккордом. Романтическая реакция, говорит он, ведет к революции; государство – нечто слишком значительное, чтобы превращать его в арлекинаду. Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно настигнут своей судьбой, именно потому, что глупцы об этом не думают. Руге ответил ему длинной иеремиадой о неизбыточном овечьем терпении немецких филистеров; письмо его «полно обвинений и безнадежности», как он сам потом говорил о нем или как

ему более вежливо тотчас же ответил Маркс: «Ваше письмо – прекрасная элегия, захватывающая дух похоронная песнь, но оно совершенно не политическое». Если филистеру принадлежит мир, то стоит изучить этого господина мира. Филистер, однако, лишь постольку господин мира, поскольку он заполняет его своим присутствием, как черви заполняют труп; и до тех пор, пока филистеры определяют собою состав монархии, и монарх тоже лишь король филистеров. Новый прусский король, более развитой и живой, чем его отец, хотел поднять филистерское государство, не меняя его основу; но пока пруссаки оставались такими же, какими были, ему не удавалось превратить ни себя, ни своих подданных в настоящих свободных людей. Это вызвало возврат к старому окостенелому государству слуг и рабов. Но столь отчаянное положение рождает новые надежды. Маркс указывает на неспособность господ и на инертность слуг и подданных, которые предоставили все на волю Божию, хотя одних этих данных достаточно, чтобы вызвать катастрофу. Он указывает на врагов филистерства, на всех мыслящих и страдающих людей, которые пришли к соглашению между собой, и даже на пассивное размножение подданных старого образца, так как оно вербует с каждым днем рекрутов для нового человечества. Еще быстрее приводит система наживы и торговли, собственности и эксплуатации к ломке внутри современного общества, и старый строй не имеет возможности оздоровить жизнь, ибо он вообще не исцеляет и не созидает, а только существует и пользуется всем. И задача сводится к тому, чтобы окончательно обличить старый мир и созидать новый.

Бакунин и Фейербах писали Руге тоже каждый по-своему в ободряющем тоне. Руге заявляет в ответном письме, что «Новый Анахарзис и новые философы» убедили его. Фейербах сравнил гибель «Немецких ежегодников» с падением Польши, когда усилия немногих были тщетны в трясине разлагавшейся национальной жизни; в ответ на это Руге говорит в одном письме к Марксу: «Да! Подобно тому, как не спасает Польшу католическая вера и дворянская свобода, и нас не могла освободить богословская философия и аристократическая наука. Мы не можем продолжать наше прошлое иным путем, кроме решительного разрыва с ним. «Ежегодники» погибли, гегелевская философия принадлежит прошлому. Мы хотим основать свой орган в Париже и будем судить в нем самих себя и всю Германию с полной свободой и неумолимой искренностью». Он обещает позаботиться о материальной стороне издания и просит Маркса высказаться о плане журнала.

Марксу принадлежит как первое, так и последнее слово в «Переписке». Совершенно ясно, говорит он, что нужно создать новый сборный пункт для действительно мыслящих и независимых людей. Но если для всех очевидно, откуда идет движение, то тем больше недоумений относительно того, куда оно направляется. «Не в том только дело, что началась общая анархия среди реформаторов, но каждый должен сознаться и перед самим собой, что не имеет точного представления о том, к чему следует стремиться. В том, однако, и заключается преимущество нового направления, что у нас нет догматических предreshений о мире, и мы хотим обрести новый мир путем критики старого. До сих пор разрешение всех загадок лежало в портфелях у философов, и глупому эзотерическому миру стоило только разинуть пасть, чтобы ему летели в рот жареные утки абсолютного знания. Философия приобщилась к миру; это наиболее убедительно явствует из того, что философское сознание не только внешним образом, но и внутренне по существу втянуто в муку борьбы.

Если не наше дело – сооружать будущее и решать все на вечные времена, то тем определеннее наша непосредственная задача. Она заключается в беспощадной критике всего существующего, беспощадной в том смысле, что она не должна бояться конечных выводов, к которым приходит, так же как не должна страшиться и столкновений с существующими властями».

Маркс не намеревался водружать никакой догматический стяг, и коммунизм в том смысле, как его излагали Кабе, Дезами, Вейтлинг, был тоже догматической абстракцией в его глазах. Главный интерес современной Германии, по его словам, заключается в религии и затем

в политике, и не следует противопоставлять им вымышленный строй, как в «Путешествии в Икарию», а нужно исходить из них, каковы они ни на есть.

Маркс опровергает «рьяных социалистов», которые считают политические вопросы совершенно ничтожными. Из столкновений политической государственности, из противоречия между идеальным назначением государства и его реальными предпосылками и вырабатывается всюду социальная истина. «Ничто поэтому не мешает нам исходить в нашей критике из критики политической, из партийности в политике, и тем самым примкнуть к подлинной борьбе. Тогда мы выступим не как доктринеры, предлагающие миру новый принцип: „Вот, мол, истина, и преклони перед нею колени“. Мы раскрываем миру новые принципы исходя из принципов существующего. Мы не говорим миру: „Оставь свою борьбу – она ни к чему не ведет; мы дадим тебе истинные лозунги борьбы“. Вместо того мы показываем миру, из-за чего он, в сущности, борется, а сознание есть нечто такое, что неизбежно усваивается, хотя бы против желания». Маркс сводит таким образом программу нового журнала к следующей формуле: самовразумление (критическая философия) времени для уяснения своих стремлений и желаний.

К «самовразумлению» пришел, однако, только Маркс, а не Руге. Уже «Переписка» показала, что вожаком был Маркс, а Руге только шел, куда его вели. К тому же Руге заболел, приехав в Париж, и не мог принимать деятельного участия в редактировании журнала. Это парализовало его редакторские способности, наиболее нужные, по его мнению, для дела, так как Маркса он считал слишком «обходительным» для редакторства. Руге не имел возможности придать журналу тот вид и то направление, которое считал наиболее подходящим, и даже не мог поместить в нем свою статью. Все же при выходе первого выпуска он еще не относился к журналу вполне отрицательно. Он находил, что «много в нем замечательно и наверно вызовет большой интерес в Германии», но прибавлял с упреком, что «наряду с этим преподнесено несколько „необтесанных вещей“; он бы непременно внес в них поправки, а их взяли впопыхах, без всяких изменений. Журнал, по всей вероятности, продолжал бы выходить, если бы этому не помешали внешние обстоятельства.

Прежде всего очень быстро истощились средства Литературного бюро, и Фребель заявил, что не может продолжать дело. Затем, при первом известии о выходе в свет «Немецко-французских ежегодников», прусское правительство начало поход против журнала. Оно, правда, не встретило при этом сочувствия даже у Меттерниха, не говоря о Гизо, и вынуждено было ограничиться оповещением обер-президентов всех провинций циркуляром от 18 апреля 1844 г., что «Ежегодники» представляют собою покушение на государственную измену и оскорбление величества; обер-президентам предписывалось отдать конфиденциальные распоряжения полицейским властям, чтобы они задержали Руге, Маркса, Гейне и Бернайса при их вступлении на прусскую территорию и захватили их бумаги. Это было еще довольно невинно, ибо нюрнбергцы никого не вешают, прежде чем не захватят его в свои руки. Но нечистая совесть прусского короля была опасна тем, что со злобным страхом охраняла границы. На одном рейнском пароходе захвачено было сто экземпляров «Ежегодников», у Бергцаберна на француско-пфальцской границе значительно более двухсот. Это были очень чувствительные подзатыльники при сравнительно ограниченном числе экземпляров, имевшихся в распоряжении.

При возникновении внутренних трений они всегда легко обостряются из-за внешних осложнений. По свидетельству Руге, внешние затруднения и ускорили или даже вызвали его разрыв с Марксом. Это вполне допустимо ввиду того, что Маркс отличался величественным равнодушием к денежным вопросам, а Руге был подозрителен, как лавочник. Он не стеснялся выплачивать Марксу жалованье, которое ему полагалось, по меновой системе – экземплярами «Ежегодников», но сам приходил в величайшее волнение при одном только мнимшемся ему предположении, что он пожелает рисковать своим состоянием и возьмет на себя дальнейшее издание журнала, несмотря на свою неопытность в книжном деле. К самому себе Маркс дей-

ствительно предъявил такое требование в подобных обстоятельствах, но от Руге он едва ли этого ожидал. Возможно, что он советовал не бросать ружье в кусты после первого же промаха; но Руге, который уже выходил из себя, когда предполагали, что он пожертвует пару франков на издание сочинений Вейтлинга, увидел в совете Маркса опасное посягательство на свой кошелек.

Кроме того, Руге выяснил сам главную причину разрыва, указав, что непосредственным поводом послужил спор о Гервеге. Руге, «быть может, действительно, с излишней горячностью», по его словам, назвал Гервега «негодяем», а Маркс настойчиво говорил о «великом будущем» Гервега. Руге оказался прав; «великого будущего» Гервег не достиг, а его тогдашний образ жизни в Париже был, несомненно, предосудительный; даже Гейне очень резко его осуждал, и Руге признает, что Марксу он тоже не доставлял большой радости. Все же лучше ошибаться в благородном смысле, как «запальчивый» и «едкий» Маркс, нежели гордиться своей жуткой инстинктивной подозрительностью, как «добродетельный» Руге; для Маркса дело шло о революционном поэте, а для Руге – о мещанской безупречности.

Такова была более глубокая основа незначительного инцидента, навсегда разъединившего этих двух людей. Для Маркса разрыв с Руге не имел такого существенного значения, как, например, его позднейшие разногласия с Бруно Бауэром или Прудоном. Как революционер, он, вероятно, еще задолго до того был раздражен против Руге, а спор о Гервеге, если он был действительно таков, как описывает Руге, окончательно вывел его из терпения.

Для того чтобы ознакомиться с тем, что было самого лучшего в Руге, следует прочесть его «Воспоминания», изданные им двадцать лет спустя. Четыре тома их доходят до гибели «Немецких ежегодников», до того времени, когда жизнь Руге была образцом для литературного авангарда школьных учителей и студентов, представителей буржуазии, жившей мелким торгашеством и большими иллюзиями. «Воспоминания» содержат много очаровательных жанровых картинок детских лет Руге, выросшего в равнинах Рюгена и передней Померании; они воссоздают также бодрое время студенческих союзов и время жестокой травли демагогов и описывают это время с живостью, не превзойденной в немецкой литературе. Но, к несчастью для Руге, «Воспоминания» его вышли в свет уже тогда, когда немецкая буржуазия отбросила высокие иллюзии и занялась крупным торгашеством. Книга Руге прошла поэтому почти незамеченной, в то время как другое произведение в том же роде, но гораздо менее значительное не только в историческом, но и в литературном отношении, «*Ut mine Festungstid*» Рейтера, вызвало бурные восторги. Руге был подлинный участник студенческих союзов, а Рейтер лишь случайно затесался туда в качестве весельчака бурша; но буржуазия уже заигрывала в то время с прусскими штыками, и ей поэтому чрезвычайно нравился «золотой юмор» рейтеровских шуток о гнусном произволе в травле демагогов. Она предпочитала шутки Рейтера «дерзкому юмору» Руге, который, по меткому выражению Фрейлиграда, доказывал, что негодяи не одолели его, а казематы дали ему свободу.

Но именно в живых описаниях Руге и чувствуется, что предмартовский либерализм, несмотря на высокие фразы, был все же чистым филистерством, и глашатаи его в конце концов оставались филистерами. Руге еще наиболее пылкий среди них, и в пределах чисто идеологических он боролся с достаточным мужеством. Но именно его пылкость и была причиной резкого поворота назад, когда в Париже перед ним предстали великие противоречия современной жизни.

Если он и примирялся с социализмом, поскольку видел в нем забаву человеколюбивых философов, то коммунизм парижских ремесленников вызвал в нем панический буржуазный ужас – даже не за свою шкуру, а за свой кошелек. В «Немецко-французских ежегодниках» он прочел отходную философии Гегеля, а в течение того же еще 1844 г. приветствовал самое причудливое порождение этой философии, книгу Штирнера, как освобождение от коммунизма,

глупейшей из всех глупостей нового христианства, проповедуемого глупцами, осуществление которого привело бы к гнусной жизни в овечьих загонах.

Маркс и Руге расстались навсегда.

Философские перспективы

«Немецко-французские ежегодники» оказались, таким образом, мертворожденным ребенком. Так как издатели все равно никак не могли долго идти рука об руку, то было безразлично, когда и как они разойдутся. Лучше даже, что это произошло скоро. Достаточно было того, что Маркс сделал большой шаг вперед в своем «самовразумлении».

Он напечатал в журнале две статьи – «Предисловие к критике гегелевской философии права» и разбор двух книг Бруно Бауэра по еврейскому вопросу. Статьи эти, затрагивавшие разные области интересов, связаны между собой идейным содержанием. Свою критику гегелевской философии права Маркс основывал впоследствии на утверждении, что ключ к пониманию исторического развития лежит не в восхваляемом Гегелем государстве, а в пренебрегаемом им обществе, и об этом говорится даже более обстоятельно во второй статье, нежели в первой.

В другой перспективе эти две статьи относятся одна к другой как средства и цель. Первая дает философский очерк пролетарской классовой борьбы, вторая – философский очерк социалистического общества. Но обе статьи не выпалены как из ружья, а свидетельствуют о строгой логической последовательности в духовном развитии автора. Первая статья примыкает непосредственно к Фейербаху, утверждая, что он по существу завершил критику религии, предпосылку всякой другой критики. Человек создает религию, а не религия человека. Но человек – так приступает Маркс к собственному рассуждению – не отвлеченное, ютящееся вне мира существо. Человек – это мир человека, государство, общество, и они создают религию, как опрокинутое мирознание, ибо они сами опрокинутый мир. Борьба против религии становится, таким образом, борьбой против того мира, духовным ароматом которого является религия. И задача истории, после того как исчезла потусторонность истины, заключается в том, чтобы установить истину посюсторонности. Критика неба превращается тем самым в критику земли, критика религии – в критику права, критика богословия – в критику политики.

В Германии эту историческую задачу может разрешить только философия. Если отрицать состояние, создавшееся в Германии в 1843 г., то мы находимся, по французскому летоисчислению, едва ли даже еще в 1789 г. и уж никак не в фокусе современности. Если подвергнуть критике современную политически социальную действительность, то она окажется вне немецкой действительности, ибо иначе она занялась бы тем, что ниже ее объекта. Как пример того, что задачей немецкой истории, как неумелого рекрута, было пока еще проходить уставшие исторические упражнения, Маркс указывает на одну из «главных задач настоящего времени» – на отношение промышленности и вообще мира богатства к политике.

Этот вопрос интересует немцев лишь в виде покровительственных пошлин, запретительных тарифов, национальной экономии. В Германии лишь приступают к тому, что во Франции и Англии начинает приходить к концу. Старые разлагающиеся условия, против которых в этих странах уже ведется теоретический поход, которые там еще терпят только так, как терпят цепи, в Германии приветствуются, как восходящая заря прекрасного будущего. В то время как во Франции и Англии основной задачей является политическая экономия, или господство общества над богатством, задача эта в Германии гласит: национальная экономия, или господство частной собственности над национальностью. Там речь идет о разрешении задачи, а тут еще только затягивают узел.

Но если не в историческом отношении, то философски немцы вполне слиты с современностью, и критика немецкой правовой и государственной философии, наиболее последовательно разработанной Гегелем, ведет в самый центр жгучих современных вопросов. Маркс устанавливает в своей статье определенное отношение как к двум направлениям, которые шли рядом в «Рейнской газете», так и к Фейербаху. Последний швырнул философию в старый хлам,

а Маркс говорит, что для того, чтобы в дальнейшем развитии исходить из подлинных жизненных начал, не следует забывать, что истинный зародыш жизни немецкого народа гнезвился до сих пор только под оболочкой его черепа. «Хлопчатобумажным рыцарям и героям железа» он говорит: вы совершенно правы, упраздняя философию, но ее нельзя уничтожить иначе, чем претворив в действительность. А старому своему другу Бауэру и его последователям он говорит обратное: вы совершенно правы, что осуществляете философию, но нельзя осуществить ее, тем самым не упразднив.

Критика философии права приходит к задачам, для разрешения которых есть только одно средство: осуществление на деле. Сможет ли Германия прийти к практическому осуществлению, соответствующему высоте принципа, то есть к революции, которая поднимет ее не только на равную высоту с современными народами, но и на человеческую высоту ближайшего будущего этих народов? Как перескочить ей отчаянным прыжком не только через свои собственные преграды, но и через границы, поставленные современным народам, когда в действительности она ощущает их преграды как освобождение от своих действительных преград.

Оружие критики не может, конечно, заменить критику оружия; материальная сила должна быть свергнута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, когда она захватывает массы. А теория захватывает массы, когда становится радикальной. Но радикальная революция нуждается все же в пассивном элементе, в материальной основе: теория осуществляется народной массой, лишь поскольку она осуществляет потребности массы. Недостаточно того, чтобы мысль влекла к осуществлению; нужно, чтобы действительность наталкивала на мысль. Но это, по-видимому, отсутствует в Германии, где различные круги пребывают в эпических отношениях, не доходя до драматических столкновений. Даже нравственное самочувствие германского среднего класса основано на сознании, что он представляет собой общую филистерскую посредственность всех других классов. И каждый круг буржуазного общества в Германии переживает поражение, прежде чем праздновать победу, проявляет свою душевную узость, прежде чем ему удастся проявить высоту духа: таким образом, каждый класс, не успев еще начать борьбу с классом, стоящим выше его, сам уже оказывается вовлеченным в борьбу с классом, стоящим ниже его.

Это, однако, не доказывает еще, что в Германии невозможна радикальная, общечеловеческая революция. Невозможна в ней лишь половинчатая, исключительно политическая революция, в которой остаются нетронутыми столбы здания. Для такой революции в Германии нет необходимых предпосылок: с одной стороны, нет класса, который исходя из своего особого положения предпринял бы эмансипацию общества и освободил все общество, хотя и в предположении, что все общество находится в равных условиях с этим классом, то есть, например, имеет деньги, владеет образованием или может наживать сколько угодно. С другой стороны, в Германии нет класса, в котором были бы сосредоточены все недостатки общества, нет социальной среды, составляющей своим существованием явное преступление всего общества, так что освобождение от этой среды ощущается как общее самоосвобождение. Отрицательно-всеобщее значение французского дворянства и французского духовенства вызвало положительно всеобщее значение граничащей с ними и выступившей против них буржуазии.

Из невозможности половинчатой революции Маркс заключает о «положительной возможности» революции радикальной. На вопрос, в чем эта возможность состоит, он отвечает: «В образовании класса с радикальной спайкой, класса буржуазного общества, который не есть класс буржуазного общества, сословия, которое является уничтожением всех сословий, общественного слоя, который имеет всемирный характер, потому что страдания его всемирны, который не требует для себя никаких особых прав, ибо по отношению к нему попораны не его особые права, а всяческая справедливость, который призывает к борьбе во имя человеческих, а не исторических прав и стоит не в одностороннем противоречии к последствиям, а во всестороннем противоречии к предпосылкам германской государственной сущности, — словом, такого

общественного слоя, который, для того чтобы освободиться самому, должен непременно освободиться от всех других общественных слоев и тем самым освободить все остальные слои и, являя собою полное крушение человека, лишь тогда вновь обретет себя, когда восстановит полностью человека в человеке. Это уничтожение общества и есть пролетариат». Он только начинает рождаться в Германии; как следствие развивающегося промышленного движения, ибо не естественно возникающая, а искусственно насажденная бедность создает пролетариат, не механически придавленная тяжестью общества человеческая масса, а та, которая порождена бурным разрушением общества и главным образом уничтожением среднего сословия. Само собой разумеется, однако, что и естественно нарастающая бедность, и христианско-германское крепостничество тоже постепенно пополняют ряды пролетариата.

Так же как философия обретает в пролетариате свое физическое орудие, так и пролетариат обретает в философии духовное орудие, и как только молния мысли глубоко западет в эту наивную народную почву, то свершится эмансипация немца и превращение его в человека. Философия не может осуществиться в действительности без упразднения пролетариата, пролетариат не может упразднить себя без осуществления философии. Когда выполняются все внутренние условия, то немецкий день воскресения будет возведен криком галльского петуха.

По форме и содержанию эта статья стоит в первом ряду сохранившихся юношеских произведений Маркса. Беглый очерк основного ее содержания не может дать и отдаленного понятия о переливающем через край обилии мыслей, которые Маркс умеет укладывать в эпиграмматически сжатую форму. Немецкие профессора усматривают в этом гримасы стиля и крайнее безвкушие, но доказывают таким суждением лишь свое собственное уродство и безвкушие. Правда, и Руге уже считал «эпиграммы» этой статьи слишком «искусственными» и упрекал Маркса в «бесформенности и чрезмерной ухищренности формы»; но все же он открыл в статье «критический талант, который иногда переходит в чрезмерный задор диалектики». Это суждение вполне справедливое. Маркс часто сам наслаждался в молодые годы звоном своего острого и тяжело разящего оружия. Задор – свойство гениальной молодости.

Статья раскрывает только философские перспективы будущего. Никто более логично не доказал, чем Маркс в позднейшие годы, что ни один народ не может перескочить отчаянным прыжком через необходимые ступени своего исторического развития. Но его твердая рука выводит в этой статье не столько неверные, как скорее туманно намечающиеся очертания будущего. Каждое событие в частности складывалось по-иному, но в общем все происходило так, как он предсказал. Об этом свидетельствует история немецкой буржуазии и история немецкого пролетариата.

О еврейском вопросе

Не такой захватывающей по форме, но почти еще более значительной по силе критического анализа была вторая статья Маркса в «Немецко-французских ежегодниках». В этой статье Маркс изучает разницу между человеческой и политической эмансипацией по поводу двух работ Бруно Бауэра по еврейскому вопросу.

Этот вопрос не опустился еще в то время до низин юдофобских и юдофильских толков нашего времени. Целый класс населения, приобретающий все большую силу, как влиятельная часть торгового и ростовщического капитала, лишен был из-за своей религии всех гражданских прав или же пользовался только благодаря своему ростовщичеству особыми привилегиями; знаменитейший представитель «просвещенного абсолютизма», философ из Сан-Суси, подал в этом смысле назидательный пример: он предоставил денежным евреям, которые помогали ему в подделке денег и других сомнительных финансовых операциях, «свободу банкиров-христиан».

В то же самое время философу Моисею Мендельсону он только разрешал проживать в его владениях, и то не потому, что Мендельсон был философ и стремился ввести свою «нацию» в духовную жизнь Германии, а потому, что он служил бухгалтером у привилегированного денежного еврея. Лишившись этого места, Мендельсон оказался бы вне покровительства закона.

Но и буржуазные просветители, за немногими исключениями, не слишком возмущались преследованием целого класса населения за его религиозные убеждения. Иудейская вера была им ненавистна как образец религиозной нетерпимости, научившей и христиан «травить людей»; сами же евреи не обнаруживали ни малейшего интереса к гражданскому просвещению. Они восхищались просветительной критикой христианского вероучения, которое сами издревле проклинали, но обвиняли в измене идеям человечества всякого, кто подходил с такой же критикой к еврейской религии. Они требовали политической эмансипации еврейства, но не в смысле равноправия, не с намерением отказаться от своего обособленного положения, а скорее с намерением укрепить это положение, и были всегда готовы поступиться либеральными принципами, если таковые противоречили каким-нибудь обособленным еврейским интересам.

Критика религии, начатая младегегельянами, естественным образом распространялась и на иудейство, к которому они относились как к подготовительной ступени христианства. Фейербах видел в еврействе религию эгоизма. «Евреи сохранились в своей обособленности и по нынешний день. Их основной принцип, их Бог – самый практичный принцип в мире; это эгоизм в образе религии. Эгоизм собирает, сосредоточивает человека на самом себе, но ведет к идейной ограниченности, ибо человек становится равнодушным к всему, что не относится непосредственно к его собственному благосостоянию». В том же духе рассуждает Бруно Бауэр, когда говорит, что евреи вгнездились в щели и расселины буржуазного общества для эксплуатации его шатких элементов, подобно богам Эпикура, которые жили в промежуточных пространствах мира, где они избавлены от определенной работы. Еврейская религия, по словам Бруно Бауэра, животное лукавство и хитрость, которыми удовлетворяются чувственные потребности. Евреи искони веков противились историческому прогрессу и создали себе в своей ненависти ко всем народам самую странную и самую ограниченную народную жизнь.

Но если Фейербах исходил в своем толковании еврейской религии из сущности еврейской природы, то Бруно Бауэр рассматривал этот вопрос все же еще сквозь богословские очки, хотя Маркс и хвалил основательность, смелость и проникновенность его исследований по еврейскому вопросу. Как и христиане, евреи обретут свободу лишь тогда, когда преодолеют свою религию. Христианское государство не может по своей религиозной сущности эмансипировать евреев, но и религиозная сущность евреев препятствует их эмансипации. Христиане и

евреи должны перестать быть христианами и евреями, если хотят быть свободными. Но так как иудейство, как религия, отстало от опередившего его в религиозном отношении христианства, то путь еврея к освобождению более трудный и длинный, нежели путь христианина. По мнению Бауэра, евреи должны сначала проделать опыт христианства и пройти через гегелевскую философию, и тогда только им откроется путь к свободе.

Маркс возражает на это, что недостаточно исследовать, кому надлежит освобождать, а кому быть освобожденным; критика должна задаться вопросом, о какой эмансипации идет речь: о политической или человеческой. Евреи, как и христиане, обрели в некоторых государствах полную политическую эмансипацию, что не значит, однако, что они эмансипированы в человеческом смысле. Отсюда следует, что есть разница между эмансипацией в политическом и человеческом смысле.

Сущность политической эмансипации представлена полным развитием современного государства, и это государство вместе с тем и совершенное христианское государство, ибо христианско-германское государство, государство привилегированных, еще несовершенно; оно еще богословское, еще не выявившееся в своей политической чистоте. Политическое же государство в своем высшем развитии не требует ни от еврея уничтожения еврейства, ни от человека вообще уничтожения религии; оно эмансипировало евреев и по существу своему должно их эмансипировать. Там, где государственный строй определенно устанавливает независимость политических прав от религиозных убеждений, там человека, не имеющего религиозных убеждений, не считают порядочным человеком. Таким образом, религия не противоречит завершенности государства. Политическая эмансипация еврея, христианина, вообще человека религиозных убеждений является эмансипацией государства от еврейства, от христианства, вообще от религии. Государство может освободиться от всякого ограничения, в то время как человек еще не будет от него свободен, и в этом предел политической эмансипации.

Маркс развивает эту мысль еще дальше. Государство, как государство, отрицает частную собственность; человек политически провозглашает уничтожение частной собственности тем, что отменяет ценз для активного и пассивного избирательного права, как это было сделано во многих североамериканских штатах. Государство, как таковое, уничтожает различие рождения, сословий, образования и занятий, заявляя, что все это не политические различия, и призывая каждого члена народа к одинаковому участию в народной власти, не касаясь этих различий. И тем не менее государство предоставляет частной собственности, образованию и роду занятий существовать по-своему, то есть существовать как частная собственность, как образование, как занятие и проявлять свои особенности. Государство не только не уничтожает эти фактические различия, а само живет только при условии их существования; оно ощущает себя политическим государством и проявляет свою всеобщность только в противоположность к этим своим составным частям. Совершенное политическое государство представляет по своему существу родовую жизнь человечества в противоположность его материальной жизни. Все предпосылки этой эгоистической жизни продолжают существовать вне сферы государственной жизни в гражданском обществе, но как свойства гражданского общества. Отношение политического государства к его предпосылкам, и материального свойства, как частная собственность, и духовного, как религия, заключается в столкновении общих и частных интересов. Столкновение человека, как исповедующего особую религию, с его принадлежностью к государству как гражданина, и с другими людьми как членами общины сводится к расколу между политическим государством и гражданским обществом.

Гражданское общество – основа современного государства, как древнее рабство было основой древнего государства. Современное государство подтвердило свое происхождение тем, что провозгласило общие человеческие права, пользование которыми должно быть предоставлено евреям так же, как пользование политическими правами. Общие человеческие права утверждают эгоистическую гражданскую личность и безудержное движение духовных и мате-

риальных элементов, составляющих содержание его житейского положения, содержание современной гражданской жизни. Общие человеческие права не освобождают человека от религии, а дают ему свободу религии; они не освобождают его от собственности, а дают ему свободу собственности; они не освобождают его от приобретения, а предоставляют ему свободу промышленности. Политическая революция создала гражданское общество, разрушив пестроту феодального быта, все сословия, корпорации, цехи, в которых сказывалась оторванность народа от общинности; она создала политическое государство как общее дело, как действительное государство.

Маркс следующим образом формулирует свою мысль: «Политическая эмансипация сводит человека, с одной стороны, на члена гражданского общества, на эгоистически независимую отдельную личность, с другой стороны, на гражданина государства, на моральную личность. Только тогда, когда истинно индивидуальный человек поглотит в себе отвлеченного гражданина государства и, как индивидуальная личность, сделается родовой единицей в своей эмпирической жизни, в своей индивидуальной работе, в своих индивидуальных обстоятельствах, только когда человек воспримет свои собственные силы как силы общественные, соответствующим образом организует их и не будет более отделять от себя общественную силу в образе силы политической, только тогда осуществится человеческая эмансипация.

Оставалось еще рассмотреть утверждение, что христианин восприимчивее к эмансипации, нежели еврей, как утверждал Бауэр исходя из еврейской религии. Маркс примыкает к Фейербаху, который объяснял еврейскую религию свойствами евреев, а не выводил свойства евреев из еврейской религии. Но он идет дальше Фейербаха и выясняет тот обособленный элемент общественности, который отражается в еврейской религии. В чем житейская основа еврейства? В практических потребностях, в своекорыстии. В чем житейское богопочитание еврея? В купле-продаже. Что его божество в жизни? Деньги. «Значит, эмансипация от купли-продажи и денег, то есть от практического реального еврейства, была бы самоэмансипацией нашего времени. Такая организация общества, которая уничтожила бы предпосылки купли-продажи и тем самым возможность ее, сделала бы существование еврея как еврея невозможным. Его религиозное сознание растворилось бы, как пар, в живительном воздухе общественности. С другой стороны, когда сознанию еврея раскрывается ничтожество его практического существа и он стремится уничтожить его, то этим он содействует, исходя из своего прежнего развития, общей человеческой эмансипации и обращается против высшего практического выражения человеческого самоотчуждения». Маркс видит в еврействе общий современный антисоциальный элемент; историческое развитие, в котором евреи усердно соучаствовали в дурном смысле, возвело его на его теперешнюю высоту, где он неизбежно должен раствориться.

Маркс достиг двоякого результата в своей статье. Он заглянул в основу соотношений между обществом и государством. Государство не есть, как думал Гегель, действительность нравственной идеи, абсолютно разумное и абсолютная самоцель; оно должно, напротив того, довольствоваться несравненно более скромной задачей и защищать анархию поставившего его своим стражем гражданского общества: общую борьбу человека против человека, личности против личности, войну всех отдельных личностей, еще более отделенных одна от другой своей индивидуальностью, друг против друга, общее безудержное движение стихийных жизненных сил, освобожденных от феодальных тисков, фактическое рабство, лишь кажущееся свободой и независимостью отдельной личности; она принимает безудержное движение своих отчужденных жизненных элементов, таких как собственность, промышленность, религия, за свою собственную свободу, в то время как это скорее полное рабство и бесчеловечие.

Затем Маркс выяснил, что религиозные злобы дня имеют лишь общественное значение. Развитие еврейства он усматривает не в его религиозном учении, а в промышленной и коммерческой практике и видит в еврейской религии фантастическое ее отражение. Так как гражданское общество всецело проникнуто коммерческой еврейской сущностью, то евреи неотъ-

емлемая часть этого общества и могут претендовать на политическое равноправие так же, как на общие человеческие права. Но человеческая эмансипация совершенно новая организация общественных сил – такая, при которой человек становится господином своих источников жизни. Тут, в смутных очертаниях, вырисовывается картина социалистического общества.

В «Немецко-французских ежегодниках» Маркс вспахивал еще только философское поле; но в бороздах, которые он проводил плугом критики, взошли зародыши материалистического понимания истории, и они быстро заколосились в лучах французской культуры.

Французская культура

Весьма вероятно, судя по обычным приемам работы Маркса, что обе свои статьи о философии права Гегеля и о еврейском вопросе он в общих чертах, по крайней мере, набросал, еще когда жил в Германии, в первые месяцы своего счастливого брака. Статьи эти касались задач Великой французской революции, и тем понятнее, что Маркс погрузился в историю этой революции, как только пребывание в Париже дало ему возможность исследовать источники ее; и не только источники предшествовавшей ей исторической эпохи, то есть французского материализма, но и источники последующей истории, французского социализма.

Париж того времени был вправе гордиться тем, что идет во главе буржуазной культуры. В Июльской революции 1830 г. французская буржуазия, после ряда мировых иллюзий и катастроф, упрочила наконец то, что начала в Великую революцию 1789 г. Ее таланты предавались покою, но в то время, когда еще далеко не было сломлено противодействие старых сил, выступили новые, и непрерывно бушевали духовные распри, как нигде в другом месте в Европе – всего менее в могильной тишине Германии.

Маркс ринулся полной грудью в эти бодрящие волны. В мае 1844 г. Руге писал Фейербаху – без намерения сказать этим нечто похвальное, что делает его свидетельство тем более достоверным, – что Маркс очень много читает и очень напряженно работает, но ничего не заканчивает, все обрывает и потом наново погружается в безбрежное море книг. Он пишет далее, что Маркс раздражителен и вспыльчив, в особенности после того, как дорабатывается до болезни и по три-четыре ночи не ложится спать. Он снова отложил критику философии Гегеля и хочет воспользоваться пребыванием в Париже, чтобы написать историю конвента. Руге говорит одобрительно об этом плане и сообщает, что Маркс собрал для своей истории много материала, установил верные исходные пункты, и это должно привести к плодотворным результатам.

Маркс не написал истории конвента, но это не опровергает показания Руге, а, напротив того, придает им еще больше достоверности. Чем глубже Маркс вникал в историческую сущность революции 1789 г., тем легче ему было отказаться от критики гегелевской философии как средства «самовразумления» относительно современных стремлений и борьбы; но тем менее мог он удовлетворяться историей конвента, который хотя и представляет собой наивысшее проявление политической энергии, политической силы и политического разума, но выказал себя бессильным по отношению к общественной анархии.

Кроме скудных упоминаний Руге, не сохранилось, к сожалению, никаких указаний на ход занятий Маркса весной и летом 1844 г. В общем, однако, легко представить себе, как эти занятия складывались. Изучение Французской революции натолкнуло Маркса на ту историческую литературу третьего сословия, которая возникла в эпоху реставрации Бурбонов. Она представлена была очень талантливыми писателями, и целью их было проследить историческое существование своего класса до XI в., чтобы изобразить историю Франции начиная со Средних веков как непрерывный ряд классовых столкновений. Этим историкам – он называет из них главным образом Гизо и Тьерри – Маркс обязан был своим знанием исторической сущности классов и классовой борьбы; с экономической анатомией этой борьбы он познакомился по сочинениям буржуазных экономистов, из которых указывает на Рикардо. Маркс сам всегда отрицал, что именно он открыл теорию классовой борьбы. Он только доказал, что существование классов связано с определенной исторической борьбой в развитии производства, что классовая борьба неминуемо приводит к диктатуре пролетариата, а эта диктатура составляет переход к уничтожению всякого классового различия и образованию общества, не разделенного на классы. Этот ход мыслей развивался у Маркса во время его парижского изгнания.

Самым блестящим и отточенным оружием, которым третье сословие боролось против господствующих классов, была в XVIII в. материалистическая философия. И ее Маркс усердно изучал во время своего парижского изгнания, не столько в том из ее двух течений, которое исходило от Декарта и уходило в естествознание, как в другое, примыкавшем к Локку и вливавшемся в общественные науки. Гельвеций и Гольбах, которые внесли материализм в теорию общественности и положили в основу своей системы естественное равенство умственных способностей всех людей, единство между успехами разума и успехами промышленности, природную склонность человека к добру, всемогущество воспитания, были тоже звездами, светившими молодому Марксу в его парижских работах. Он окрестил их учение «реальным гуманизмом» и применял то же название к философии Фейербаха, с той разницей, что материализм Гельвеция и Гольбаха сделался «социальной основой коммунизма».

Для изучения коммунизма и социализма, как Маркс возвестил уже в «Рейнской газете», в Париже представлялись самые широкие возможности. Его взорам предстала там картина почти ошеломляющего обилия мыслей и людей. Духовная атмосфера была насыщена социалистическими зародышами, и даже *Journal des Débats*, классический орган правящей денежной аристократии, получавший солидную поддержку от правительства, не имел возможности отстраниться от этого течения. Прикосновенность к нему проявлялась в этой газете, правда, лишь в печатании якобы социалистических бульварных романов Эжена Сю. Противоположный полюс представляли такие гениальные мыслители, как Леру, уже порожденный пролетариатом. Между ними стояли обломки сенсимонистов и деятельная секта фурьеристов во главе с Консидераном, имевшая свой орган в Мирной Демократии, христианские социалисты, как, например, католический священник Ламенэ или бывший карбонарий Бушэ, мелкобуржуазные социалисты, Сисмонди, Бюре, Пэкэр, Видаль, а затем игравшая не последнюю роль изящная литература; во многих выдающихся произведениях того времени, в песнях Беранже, в романах Жорж Санд, переливаются социалистические светотени.

Особенность всех этих реформаторов заключалась в том, что они рассчитывали на почтение и благоволение имущих классов и хотели путем мирной пропаганды убедить их в необходимости общественных реформ или переворотов. Социалистические системы порождены были разочарованиями Великой революции, но проповедники их отказывались идти той политической дорогой, которая привела к этим разочарованиям. Нужно было помочь страдающим массам, не умеющим постоять за себя. Рабочие восстания тридцатых годов потерпели поражения, и действительно, их решительнейшие вожди, такие люди, как Барбес и Бланки, не имели выработанной социалистической системы и не знали определенных практических путей к перевороту.

Но рабочее движение разрасталось тем сильнее, и Гейне провидящим взором поэта определил следующими словами порожденную такими условиями проблему: «Коммунисты единственная партия во Франции, которая заслуживает серьезного внимания. Я бы требовал такого же внимания к обломкам сенсимонизма, приверженцы которого все еще живы под разными вывесками, а также к фурьеристам, которые еще проявляют большую бодрость и энергию; но эти почтенные господа движимы только словами, и социальный вопрос для них только вопрос, только традиционное понятие. Ими не владеет демоническая сила необходимости; они – не те предопределенные слуги, при посредстве которых высшая мировая воля осуществляет свои необъятные решения. Рано или поздно рассеявшаяся семья сенсимонистов и весь генеральный штаб фурьеристов перейдут к растущему войску коммунизма, произнесут созидательное слово для определения неоформленной потребности и сыграют как бы роль отцов церкви». Так писал Гейне 15 июня 1843 г., не и прошло года, как явился в Париж человек, который выполнил то, что Гейне требовал на своем поэтическом языке от сенсимонистов и фурьеристов, то есть принес созидательное слово для определения неоформленной потребности.

Вероятно, еще в пределах Германии и рассуждая еще с философской точки зрения, Маркс высказался против организации будущего, против решения вопросов раз навсегда, против водружения догматического знамени и опровергал ярых социалистов, утверждавших, что совершенно недостойно заниматься политическими вопросами. Он доказывал, что недостаточно, чтобы мысль устремлялась к действительности, а необходимо, чтобы и действительность шла к мысли, и это поставленное им условие осуществилось. После того как было подавлено последнее рабочее восстание в 1839 г., рабочее движение и социализм стали сближаться в трех направлениях.

Прежде всего в демократически-социальной партии. С социализмом дело в ней обстояло довольно слабо, ибо она составила из мелкобуржуазных и пролетарских элементов; лозунги, стоявшие на ее знамени, организация труда и право на труд были мелкобуржуазные утопии, которые нельзя было осуществить в капиталистическом обществе. В нем труд организован так, как этого требуют условия существования капиталистического общества, то есть в виде наемного труда; он необходимая предпосылка для капитала и уничтожится только с уничтожением капитализма. Точно так же обстоит дело с правом на труд. Оно может осуществиться только при общности владения орудиями производства, то есть путем уничтожения буржуазного общества, а главари партии, Луи Блан, Ледрю Ролен, Фердинанд Флокон, торжественно отказались подрубить корни буржуазного строя. Они не хотели быть ни коммунистами, ни социалистами.

Но при всей утопичности социальных целей этой партии она все же знаменовала собой решительный шаг вперед, благодаря тому что ступила на политический путь. Она заявила, что никакая социальная реформа не мыслима без политических реформ; завоевание политической власти – единственный рычаг для спасения страдающих масс. Она требовала общего избирательного права, и это требование встретило живой отголосок в пролетариате; он устал от заговоров и мятежей и искал более действительного оружия для своей классовой борьбы.

Еще большие толпы объединились вокруг знамени рабочего коммунизма, поднятого Кабэ. Он был первоначально якобинцем, но путем литературы, главным образом под влиянием «Утопии» Томаса Мора, перешел к коммунизму. Он исповедовал коммунизм столь же открыто, как его отрицала социальная демократическая партия, но сходилась с нею в том, что признавал политическую демократию необходимой переходной стадией. Благодаря этому «Путешествие в Икарию», в котором Кабэ пытался обрисовать общество будущего, сделалось несравненно популярнее гениальных фантазий Фурье о будущем, хотя в остальном книга Кабэ несравнима с ними при узости своих построений.

Наконец пришло время, когда раздались звонкие голоса из лона пролетариата и ясно возвести о том, что класс этот начинал достигать зрелости. Маркс знал Леру и Прудона, которые, как наборщики, принадлежали оба к рабочему классу, еще по «Рейнской газете» и обещал тогда основательно изучить их произведения. Последние его особенно интересовали ввиду того, что Леру и Прудон старались связать свои теории с немецкой философией, причем обнаруживали оба большое непонимание ее. О Прудоне Маркс сам свидетельствовал, что просвещал его относительно гегелевской философии во время их длинных бесед, часто просиживая с ним целые ночи. Они сошлись с тем, чтобы вскоре после того вновь разойтись; но после смерти Прудона Маркс охотно признавал, что первое выступление Прудона было мощным толчком, и сам он, несомненно, почувствовал этот толчок на себе. Первое произведение Прудона, в котором автор, отказавшись от всяких утопий, называл частную собственность причиной всех общественных зол и подверг ее основательной и беспощадной критике, Маркс считал первым научным манифестом современного пролетариата.

Все эти направления подготовили путь к слиянию рабочего движения с социализмом; но так как многое в них противоречило одно другому, то каждое после первых шагов наталкивалось на новые противоречия. Марксу прежде всего важно было после изучения социализма

перейти к изучению пролетариата. В июле 1844 г. Руге писал одному общему их другу в Германии: «Маркс погрузился в здешний немецкий коммунизм – конечно, только в смысле непосредственного общения с представителями его, ибо немыслимо, чтобы он приписывал политическое значение этому жалкому движению. Такую маленькую рану, какую ей могут нанести мастера, да еще вот здешние завоеванные полтора человека, Германия перенесет, даже не тратясь на лечение». Вскоре, однако, Руге понял, почему Маркс придавал такое большое значение начинаниям полтора мастеровых.

«Форвертс» и высылка

О личной жизни Маркса во время парижского изгнания имеется лишь очень немного сведений. Жена его родила первую дочку и уехала на родину показать ее родным. С друзьями в Кёльне продолжались прежние отношения; они прислали тысячу талеров, и благодаря этому парижский год сделался столь плодотворным для Маркса.

Маркс состоял в близких сношениях с Генрихом Гейне и отчасти благодаря ему 1844 г. ознаменовал собой вершину в творческой жизни поэта. Маркс был одним из восприимчивых от купели «Зимней сказки» и «Песни ткачей», а также бессмертных сатир на германских тиранов. Он был дружен с поэтом всего несколько месяцев, но остался верен ему, даже когда возмущение филистеров обрушилось на Гейне еще в большей степени, чем на Гервега. Маркс даже великодушно молчал, когда Гейне, уже во время своей болезни, наперекор истине, призвал его в свидетели невинности той пенсии, которую ему выплачивало министерство Гизо. Маркс, еще почти мальчиком, тщетно стремился к поэтическим лаврам; он сохранил поэтому навсегда живые симпатии к поэтам и снисходительно относился к их маленьким слабостям. Он считал, что поэты чудачки, которым нужно предоставить идти собственными путями, и что к ним нельзя прилагать мерку обыкновенных или даже необыкновенных людей. Их нужно задабривать лестью для того, чтобы они пели, и нельзя подступать к ним с резкой критикой.

В Гейне Маркс видел к тому же не только поэта, но и борца. Спор между Берне и Гейне сделался в то время своего рода пробным камнем воззрений, и Маркс стал решительно на сторону Гейне. По мнению Маркса, в немецкой литературе никогда не было примера такого дурацкого отношения, какое обнаружили христианско-германские ослы к сочинению Гейне о Берне, хотя ослы было достаточно во все времена. Шум, поднятый по поводу предательства Гейне, повлиял даже на Энгельса и Лассаля, правда, в их очень молодые годы, но никогда не смущал Маркса. «Нам нужно немного знаков, чтобы понять друг друга», – писал ему однажды Гейне, извиняясь за «каракули» своего письма, и слова эти имеют более глубокое значение, чем непосредственный смысл, в котором они были сказаны.

Маркс сидел еще на школьной скамье, когда Гейне сказал уже в 1834 г., что «свободолюбивый дух» нашей классической литературы проявляется «гораздо менее в среде ученых, поэтов и литераторов», чем в «огромной активной массе, среди ремесленников и промышленников». Десять лет спустя, в то время, когда Маркс жил в Париже, Гейне открыл, что «во главе пролетариев, в их борьбе против существующего, стоят самые передовые умы и большие философы». Чтобы вполне оценить свободу и твердость этого суждения, нужно помнить, что Гейне в то же время язвительно высмеивал нескончаемую болтовню в маленьких эмигрантских конвентиках, в которых Берне играл роль великого ненавистника тиранов. Гейне понял, что совсем иное дело, общается ли Берне или Маркс с «полутора мастеровыми».

С Марксом Гейне объединял дух немецкой философии и дух французского социализма, коренная ненависть к христианско-германскому тунеядству, к ложному тевтонству, которое в своих радикальных лозунгах перекраивало на несколько более современный лад костюм старой немецкой глупости. Масманы и Венеди, которых обессмертила сатира Гейне, шли все же по следам Берне, хотя он и стоял многим выше их по уму и остроумию. Берне был чужд искусству и философии, судя по его же часто приводимым словам, что Гёте – холоп в стихах, а Гегель – холоп в прозе; но, порвав с великими традициями немецкой истории, Берне не вступил в духовное родство с новыми силами западноевропейской культуры.

Гейне, напротив того, не мог отказаться от Гёте и Гегеля, ибо это значило отказаться от самого себя, и вместе с тем с пламенной жадой погрузился в французский социализм, как в новый источник духовной жизни. Его произведения сохраняют неуываемую жизнь; они

возбуждают гнев внуков, как возбуждали гнев дедов, в то время как сочинения Берне забыты, и виной этому не столько «мелкая рысь» их стиля, как самое их содержание.

Маркс, по его собственным словам, все же не предполагал в Берне такого безвкусия и мелочности, какие он обнаружил в сплетнях, распространяемых им исподтишка про Гейне, когда они еще стояли плечом к плечу; литературные наследники Берне имели глупость огласить эти сплетни, найдя их в бумагах, оставшихся после смерти Берне. И все же Маркс не усомнился бы в бесспорной честности сплетника, если бы выполнил свое намерение и высказался об этом споре в печати. В общественной жизни нет худших иезуитов, чем ограниченные радикалы, исповедующие букву учения. Завернувшись в потертый плащ своей добродетели, они не останавливаются ни перед какими наветами на людей утонченного и свободного ума, которым дано постигнуть более глубоко соотношения жизни. Маркс был всегда на стороне последних, тем более что хорошо знал по собственному опыту породу добродетельных людей.

В позднейшие годы Маркс рассказывал о «русских аристократах», которые носили его на руках во время его парижского изгнания, причем, правда, прибавлял, что это не имеет большой цены. Он пояснял, что русские аристократы учатся в немецких университетах и проводят юношеские годы в Париже. Они всегда жадно хватаются за все самое крайнее в западной жизни, что, однако, не мешает им превращаться в негодяев, как только они поступают на государственную службу. По-видимому, эти слова Маркса относились к некоему графу Толстому, шпиону на службе русского правительства, или к кому-нибудь другому; но он, во всяком случае, не имел в виду и не мог иметь в виду, говоря это, того русского аристократа, на духовное развитие которого имел большое влияние, – то есть Михаила Бакунина. Влияние Маркса Бакунин признавал даже тогда, когда их пути далеко разошлись. И в споре между Марксом и Руге Бакунин стал решительно на сторону Маркса против Руге, который до того был защитником Бакунина.

Спор этот снова вспыхнул летом 1844 г., и на сей раз открыто. В Париже с января 1844 г. стал выходить два раза в неделю «Форвертс», основанный далеко не с возвышенными целями. Издателем был некий Генрих Бернштейн, занимавшийся театральными и иными рекламными делами. Газета служила его коммерческим интересам и существовала на щедрую подачку от композитора Мейербера; из сочинений Гейне известно, что этот королевско-прусский генеральный директор музыки, живший преимущественно в Париже, был помешан на широкой рекламе и к тому же, вероятно, нуждался в ней. Как практичный делец, Бернштейн нацепил на «Форвертс» патриотический плащ и пригласил в редакторы газеты Адальберта фон Борнштедта, бывшего прусского офицера, который сделался всеобщим агентом, был «поверенным» Меттерниха и в то же время получал деньги от берлинского правительства. И действительно, «Немецко-французские ежегодники» встречены были при их появлении ругательным салютом «Форвертса», причем нелепость ругани, быть может, даже превосходила ее грубость.

При всем том, однако, дела не налаживались. В интересах целой фабрики переводов, устроенной Бернштейном для того, чтобы с невообразимой быстротой сплавлять новые пьесы французских театров немецким театральным дирекциям, ему нужно было вытеснить драматургов молодой Германии. Чтобы влиять в этом смысле на филистеров, которых обуяли мятежные настроения, Бернштейн вынужден был лопотать что-то про «умеренный прогресс» и отказаться от «крайностей» не только в левом, но и в правом направлении. В том же духе должен был действовать и Борнштедт для того, чтобы не отпугнуть эмигрантские кружки; общаться же с ними, не навлекая на себя подозрений, было условием оплаты его жалованья за его предательство. Но прусское правительство было так слепо, что не понимало условий своего собственного государственного спасения; оно запретило «Форвертс» в своих пределах, после чего и другие немецкие правительства последовали его примеру.

Борнштедт отказался в начале мая от редакторства, считая положение газеты безнадежным; но Бернштейн все же не отчаивался. Ему нужно было так или иначе обделывать свои дела,

и он решил, с хладнокровием пронырливого спекулянта, что ввиду запрещения «Форвертса» в Пруссии необходимо придать газете всю пряность запрещенного издания; тогда прусскому филистеру интересно будет добывать его окольными путями. Бернштейн обрадовался поэтому, когда пламенный юный Бернайс предложил ему для «Форвертса» очень острую статью, и после краткой перепалки Бернайс сделался редактором газеты, заменив Борнштедта. После того к «Фарвертсу» примкнули еще некоторые эмигранты, ввиду отсутствия всякого другого органа; но они стояли вне всякой зависимости от редакции и отвечали каждый сам за себя.

Одним из первых был Руге. Он тоже затеял сначала перепалку за своей подписью с Бернштейном, причем даже, как будто еще вполне соглашаясь с Марксом, защищал его статьи в «Немецко-французских ежегодниках». Несколько месяцев спустя он напечатал еще две статьи, несколько коротких заметок о прусской политике и длинную статью со сплетнями о «пьянице короле», «хромою королеве», об их «чисто духовном браке» и т. д. Обе статьи напечатаны были уже не под его именем, а за подписью Пруссак, что давало повод приписать авторство статей Марксу. Руге сам был гласный дрезденской городской думы и числился, как таковой, в списках саксонского посольства в Париже. Бернайс был баварец из Пфальца, а Бернштейн – уроженец Гамбурга; он жил впоследствии подолгу в Австрии, но никогда не в Пруссии.

Теперь трудно установить, с какой целью Руге подписал свои статьи псевдонимом, наводившим на ложный след. Тем временем, как видно из его писем к друзьям и родным, он догорел до бешеной ненависти к Марксу, называл его «низким человеком», «наглым жидом»; неопровержимо также, что два года спустя он написал кающееся прошение прусскому министру внутренних дел и выдал в этом прошении своих товарищей по парижскому изгнанию, свалив на плечи этих «ужасных молодых людей» свои собственные прегрешения в «Форвертсе». Возможно, однако, что Руге приписал свои статьи уроженцу Пруссии с тем, чтобы придать больше веса статьям, в которых речь шла о прусской политике. Но в таком случае он поступил крайне легкомысленно, и вполне понятно, что Маркс поспешил отразить удар мнимого «Пруссак».

Сделал он это, конечно, достойным его образом. Он воспользовался несколькими якобы фактическими замечаниями Руге о прусской политике и, чтобы отвести от себя всю статью со сплетнями о прусской династии, прибавил к своему возражению следующее подстрочное примечание: «Особые причины побуждают меня заявить, что эта статья первая, отданная мною „Форвертс“». Она была к тому же и последней.

По существу дело касалось восстания ткачей в Силезии в 1844 году. Руге не придавал ему значения, так как в нем не было политической души, а, по его мнению, социальная революция невозможна без политической души. То, что Маркс ему возражал, он уже, в сущности, высказал в статье по еврейскому вопросу. Политическая власть не может исцелить никакое общественное зло, ибо государство бессильно устранить обстоятельства, результатом которых оно само является. Маркс резко ополчился против утопизма, говоря, что социализм нельзя осуществить без революции, но столь же резко нападал и на бланкизм; он доказывал, что политический разум обманывает социальный инстинкт, когда пытается продвинуться вперед маленькими бесполезными толчками. Маркс разъяснил сущность революции с эпиграмматической меткостью. «Каждая революция, – говорит он, – уничтожает старое общество, и постольку она социальная. Каждая революция свергает старую власть, и постольку она политическая». Социальная революция с политической душой, каковой требует Руге, бессмысленна, но разумна политическая революция с социальной душой. Революция вообще, то есть свержение существующей власти и уничтожение старых условий, политический акт. Социализм нуждается в этом политическом акте, поскольку он нуждается в разрушении и уничтожении. Но когда начинается его созидательная деятельность, когда выступает его самоцель, его душа, социализм отбрасывает свою политическую оболочку.

Если Маркс примыкал этими мыслями к своей статье по еврейскому вопросу, то силезское восстание ткачей быстро подтвердило его слова о вялости классовой борьбы в Германии. В «Кёльнской газете», говорил он, теперь больше коммунизма, чем прежде в «Рейнской», как писал ему его приятель Юнг из Кёльна. «Кёльнская газета» открыла подписку в пользу семей павших или захваченных ткачей; для той же цели собрано было сто талеров у высших чиновников и самых богатых купцов города на прощальном обеде в честь правительственного президента; вся буржуазия проявляет участие к опасным мятежникам; «то, что у вас немного месяцев тому назад считалось смелой и совершенно новой постановкой вопроса, превратилось уже почти в бесспорность общего места». Маркс указывал на общее участие к ткачам, видя в этом довод против пренебрежительного отношения к восстанию со стороны Руге; но его все же не обманывало «слабое противодействие буржуазии социальным устремлениям и идеям». Он предвидел, что рабочее движение задушит внутренние политические столкновения и рознь в господствующих классах и обратит на себя всю вражду в области политики, когда обретет решительную власть. Маркс раскрыл глубочайшую разницу между буржуазной и пролетарской эмансипацией, доказав, что первая продукт общественного благополучия, вторая – общественной нужды. Оторванность от политической государственности – истинная причина буржуазной революции, оторванность от человеческой сущности, от истинной общей сущности человека – причина революции пролетарской. Насколько оторванность от человеческой сущности безусловно общее, невыносимое, страшнее, насколько она связана с большими противоречиями, чем оторванность от политической государственности, настолько и уничтожение ее, даже в таком частичном случае, как силезское восстание ткачей, тем более необъятно, чем человек беспредельнее гражданина, и человеческая жизнь более всеобъемлетна, чем жизнь политическая.

Отсюда следует, что Маркс совершенно иначе судил об этом восстании, нежели Руге. «Вспомним прежде всего песню ткачей, этот смелый лозунг борьбы; пролетариат метко, беспощадно и мощно провозглашает в ней свою противоположность обществу, основанному на частной собственности. Силезское восстание началось как раз с того, чем кончались восстания французские и английские: с сознания пролетариатом своей сущности; это превосходство сказалось в самом способе действия. Уничтожали не только машины, этих соперников рабочего, но и торговые книги – знаки собственности; и в то время, как все другие движения обращены были прежде всего против хозяев предприятий, то есть против видимого врага, это движение обратилось также против банкира – скрытого врага. И наконец, ни одно английское рабочее восстание не было проведено с таким мужеством, с такой рассудительностью и выдержкой, как это».

В связи с силезским бунтом Маркс напоминает о гениальных произведениях Вейтлинга, который в теоретическом отношении иногда шел дальше Прудона, хотя и уступал ему в выполнении. «Разве у буржуазии, включая ее философов и ученых, есть нечто равное „Гарантиям гармонии и свободы“ Вейтлинга по вопросу об эмансипации буржуазии, то есть политической эмансипации? Если сравнить сухую боязливую посредственность немецкой политической литературы с этим широким по своему захвату и блестящим литературным выступлением немецких рабочих, если сравнить исполинские детские сапоги пролетариата со стоптанными карликовыми политическими сапогами немецкой буржуазии, то можно предсказать немецкой золушке, что она достигнет гигантского роста». Маркс называет немецкий пролетариат теоретиком европейского пролетариата, английский пролетариат его национальным экономом, а французский – политиком.

То, что Маркс говорил о произведениях Вейтлинга, подтвердилось суждением потомства. Они были гениальны для своего времени, тем более гениальны, что немецкий портняжный подмастерье – до Луи Блана, Кабэ и Прудона и гораздо более действенно, чем они, – подготовил соглашение между рабочим движением и социализмом. Более странно то, что Маркс говорит об историческом значении силезского рабочего восстания. Он приписывает ему стремления,

наверное совершенно чуждые ему. По-видимому, Руге вернее оценил мятеж ткачей, увидев в нем только голодный бунт, лишенный более глубокого значения. Все же, как и в прежнем их споре о Гервеге, в этом случае еще ярче сказалось, что вина филистеров перед гениями заключается в том, что они правы. И в конце концов великое сердце побеждает мелкий ум.

«Полтора подмастерья», на которых Руге презрительно смотрел сверху вниз, в противоположность Марксу, усердно их изучавшему, образовали Союз справедливых; он разросся в тридцатых годах, примкнув к французским тайным союзам, и был разгромлен вместе с ними в 1839 г. Но это послужило ему на пользу в том отношении, что распавшиеся элементы не только вновь соединились в своем старом центре – Париже, но и перенесли союз в Англию и Швейцарию. Свобода союзов и собраний открывала ему там большую возможность развития, и новые побеги развились более сильными, чем старый ствол. Руководителем парижской организации был Герман Эвербек из Данцига; он перевел «Утопию» Кабэ на немецкий язык и сам подпал под влияние морализирующего утопизма Кабэ. Гораздо выше его по духу был Вейтлинг, который вел агитацию в Швейцарии, а в смысле по крайней мере революционной решимости Эвербека превосходили и лондонские вожди союза, часовщик Иосиф Молль, сапожник Гейнрих Бауэр и Карл Шапер; последний был студент, изучал лесоводство, а потом пробивался в жизни то наборщиком, то преподавателем языков.

О «внушительном впечатлении», которое производили эти «три настоящих человека», Маркс, вероятно, впервые услышал от Фридриха Энгельса, посетившего его в сентябре 1844 г. проездом через Париж. Они тогда видались в течение десяти дней, и при этом вполне подтвердилась общность взглядов, которая сказывалась уже в их статьях в «Немецко-французских ежегодниках»). Против их воззрений высказался тем временем их старый друг Бруно Бауэр в основанном им литературном журнале; Маркс и Энгельс узнали об его отзыве во время совместного пребывания в Париже. Они сразу решили ответить ему, и Энгельс тотчас же написал то, что хотел сказать. Маркс же, по своему обыкновению, глубже вникнул в вопрос, чем предполагалось сначала, и, работая очень напряженно, написал в течение последующих месяцев двадцать печатных листов; он закончил работу в январе 1845 г., когда закончилось и его пребывание в Париже.

Сделавшись редактором «Форвертса», Бернайс очень резко ополчился против «христианско-германских простаков» в Берлине и не стеснялся также по части «оскорблений величеств». Гейне в особенности спускал одну за другой свои зажигательные стрелы против «нового Александра» в берлинском замке. Легитимная королевская власть обратилась тогда к полицейскому начальству незаконного французского буржуазного королевства с просьбой принять решительные меры против «Форвертса». Но Гизо уклонялся от этого требования. При всей своей реакционности он был образованный человек и знал к тому же, какую доставит радость отечественной оппозиции, если выступит сыщиком прусского деспота. Он сделался несколько податливее, когда «Форвертс» напечатал «возмутительную статью» о покушении бургомистра Чеха на Фридриха Вильгельма IV. После совещания в совете министров Гизо изъявил готовность принять меры против «Форвертса», и даже меры двоякого рода: исправительно-полицейские, накладывавшие взыскание на ответственного редактора за невнесение залога, а затем в уголовном порядке, путем привлечения редактора к суду присяжных за подстрекательство к убийству короля.

Первое предложение было принято в Берлине, но оно ни к чему не привело: Бернайса приговорили к двум месяцам тюрьмы и штрафу в триста франков за невнесение требуемого законом залога; но «Форвертс» тотчас же заявил, что будет выходить в виде ежемесячника, для чего не требуется залога. А второе предложение Гизо в Берлине решительно отвергли, опасаясь, и не без основания, что парижский суд присяжных не захочет насиловать свою совесть ради прусского короля. Тогда к Гизо стали снова приставать, чтобы он выслал из Парижа редакторов и сотрудников «Форвертса».

После долгих переговоров французский министр уступил наконец давлению, которое оказывали на него. Случилось это, как тогда предполагали и как это повторил Энгельс в своем надгробном слове Марксу, при очень некрасивом посредничестве Александра фон Гумбольда, который приходился шурином прусскому министру иностранных дел. В недавнее время были сделаны попытки очистить память Гумбольда на том основании, что в прусских архивах нет ничего, подтверждающего его вину. Но это, конечно, ничего не опровергает; документы по этому печальному делу сохранились лишь в очень неполном виде, а кроме того, такие сделки никогда не делаются письменно. То, что почерпнуто действительно нового из архивов, доказывает скорее, что решительное действие разыгралось за кулисами. В Берлине были более всего взбешены против Гейне, который напечатал в «Форвертсе» одиннадцать самых резких своих сатир против прусской внутренней политики и против короля. Но с другой стороны, вопрос о Гейне был для Гизо самым неприятным во всем этом щекотливом деле. Гейне был поэт с европейским именем и считался у французов почти национальным поэтом.

Об этом главнейшем преткновении – ввиду неудобства для Гизо говорить о нем самом – напела, вероятно, какая-нибудь птица на ухо прусскому посланнику в Париже. 4 октября посланник внезапно послал донесение в Берлин, что Гейне, напечатавший будто бы только два стихотворения в «Форвертсе», едва ли был членом редакции. И смысл этого донесения был понят в Берлине.

Гейне поэтому не тронули; но целый ряд других эмигрантов, писавших в «Форвертсе» или подозреваемых в сотрудничестве, получили 11 января 1845 г. предписание покинуть пределы Франции. В число высланных вошли Маркс, Руге, Бакунин, Бернштейн и Бернайс. Часть их спаслась от высылки: Бернштейн тем, что отказался от издания «Форвертса»; Руге тем, что износил сапоги, бегая к саксонскому посланнику и к французским депутатам, чтобы доказать им, что он верноподданный гражданин своего государства. Маркс, конечно, никаких таких шагов не предпринимал и переселился в Брюссель.

Его парижское изгнание длилось немногим более года, но это была самая значительная пора его годов учения и скитаний. Год этот обогатил его впечатлениями и опытом и, главное, дал ему товарища по оружию, в каком-то он, чем далее, тем больше, нуждался для того, чтобы свершить великое дело своей жизни.

Глава 4. Фридрих Энгельс

Контора и казарма

Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820 г. в Бармене. Так же как Маркс, он не из родительского дома вынес свои революционные взгляды, и тоже, как Маркса, не личная нужда, а возвышенный ум толкнул его на революционный путь. Отец его, состоятельный фабрикант, был консерватор, а также приверженец церкви, и в религиозном отношении Энгельсу пришлось больше преодолеть, чем Марксу.

Энгельс учился в гимназии в Эльберфельде, но выступил за год до окончательных экзаменов и посвятил себя торговому делу. Подобно Фрейлиграду, Энгельс сделался хорошим купцом, хотя у него никогда не лежало сердце к «проклятой коммерции». Личность его впервые обрисовывается в письмах, которые он писал восемнадцатилетним юношей, учеником в конторе консула Лейпольда в Бремене, братьям Гребер; они были его товарищи по гимназии и поступили на богословский факультет. В этих письмах мало говорится о торговле и торговых делах, кроме как, например, в таком тоне: «Дано у нас в конторе, когда голова не трещала с похмелья». Энгельс любил выпить в веселой компании уже в юные года, как потом и в старости; и, хотя он не предавался грезам, как Гауф, в бременском пивном погребе городской ратуши и не воспевал его, как Гейне, но со здоровым юмором рассказывал о «здоровой попойке» в этих стенах, освященных славными преданиями.

Подобно Марксу, Энгельс пробовал свои силы прежде всего на поэтическом поприще, но, как и Маркс, очень скоро убедился, что не пожнет лавров на этом пути. В письме, помеченном 17 сентября 1838 г., то есть когда ему еще не исполнилось восемнадцати лет, Энгельс сообщает, что отрешился от веры в свое поэтическое призвание под влиянием гётевских советов «молодым поэтам». Он имеет при этом в виду две небольшие статьи Гёте, в которых великий старец доказывает, что немецкий язык достиг чрезвычайно высокой ступени развития, и поэтому каждому дано изменяться не без приятности в стихах; не следует, однако, придавать этому большое значение.

Гёте заканчивает свои советы четверостишием:

Каждый юноша пусть знает:
Там, где ум и дух высок,
Муза лишь сопровождает,
Но вперед их не ведет.

Советы Гёте молодой Энгельс нашел чрезвычайно применимыми к себе; они ему разъяснили, что его стихи ни чего не вносят в искусство. Он решил поэтому смотреть на свое поэтическое творчество лишь как на «приятный придаток», по выражению Гёте, и все же печатать иногда в журналах свои стихи: «Печатаются же другие молодчики, такие же ослы, как и я, если не большие; и я знаю, что своими стихами не подниму и не унижу немецкую литературу». Развязный тон немецких буршей, в котором Энгельс любил выражаться всю жизнь, не был у него знаком легковесности, даже и в его юности: в том же письме он просил своих друзей прислать ему из Кёльна народные книги: «Зигфрида», «Уленшпигеля», «Елену», «Октавиана», «Шильдбюргеров», «Детей Хеймона», «Доктора Фауста», а также писал, что изучает Якова Бёме. «У него темная, но глубокая душа. Во многое приходится очень напряженно вчитываться, чтобы хоть что-нибудь понять».

Искание глубины отвратило молодого Энгельса довольно скоро и от плоской литературы молодой Германии. В немногим позже написанном письме, от 10 января 1839 г., он обрушивается на этих «молодчиков» главным образом за то, что у них все выдуманное. «Вот этот Теодор Мундт несет вздор про девицу Тальони, будто бы исполняющую Гёте на языке танцев; он нахватал словечек у Гёте, Гейне, Рахили и у Штиглица и говорит отчаянные нелепости про Беттину – но в таком модном вкусе, таком модном, что для какого-нибудь вертопраха или тщеславной, похотливой молодой бабенки читать его полное упоение... А Генрих Лаубе! Этот молодец марает бумагу без конца, сочиняя то характеры, каких не бывает на свете, то новеллы из путевых впечатлений, ничего общего не имеющие с путевыми впечатлениями, словом, полный вздор. Прямо ужас». «Новый дух» в литературе начался для молодого Энгельса с «громового удара Июльской революции», «прекраснейшего выявления народной воли со времени освободительной войны». К представителям этого духа он причислял Бека, Грюна и Ленау, Иммермана и Платена, Бёрне и Гейне, а также Гуцкова, которого он с отличавшей его твердостью суждений ставил выше других светил молодой Германии. Энгельс, как видно по письму от 1 мая 1839 г., дал статью в «Телеграф», журнал, издаваемый этим «честнейшим парнем», но просил строго хранить тайну его сотрудничества, потому что иначе он попадет в «адскую передрагу».

Свободолюбивые тирады молодой Германии не обманывали молодого Энгельса относительно малой художественной ценности ее литературы; но это далеко не вызывало в нем более снисходительного отношения к нападкам на молодую Германию из реакционного и ортодоксального лагеря. В этих случаях он становился всецело на сторону преследуемых, подписывался представителем молодой Германии и грозил своему другу: «Говорю тебе, Фриц, – писал он, – если ты сделаешься когда-нибудь пастором, держись каких тебе угодно будет ортодоксальных воззрений; но если ты сделаешься пиетистом, то я с тобой разделаюсь по-своему». С такого же рода чувствами связано было его особое расположение к Бёрне; книгу Бёрне против доносчика Менцеля молодой Энгельс считал в стилистическом отношении лучшим немецким произведением того времени, а Гейне одновременно с этим обзывал иногда «поросенком». То было, правда, время сильного возмущения против поэта, когда и молодой Лассаль писал в своем дневнике: «И этот человек изменил делу свободы! Он сорвал с головы якобинский колпак и надел шляпу с галунами на благородные кудри!»

Но ни Бёрне, ни Гейне и ни какой-либо другой поэт не направили молодого Энгельса на истинный путь его жизни: то, чем он стал, сделала из него судьба. Энгельс был родом из Бармена и жил в Бремене; оба этих города были цитаделями северогерманского пиетизма, и освобождение от оков пиетизма положило начало великой борьбе за освобождение, которая заполнила его славную жизнь. Когда Энгельс говорит о борьбе с верой детских лет, в тоне его звучит несвойственная ему обычно мягкость. «Я молюсь ежедневно, – пишет он, – молюсь почти целый день об истине. И всегда молился, когда на меня нападали сомнения; а все же я не могу вернуться к вашей вере... У меня подступают слезы к глазам в то время, как я тебе пишу, я глубоко взволнован, но чувствую, что не погибну; я приду к Богу, ибо всем сердцем стремлюсь к нему. И это тоже свидетельство о Духе Святом, так я уповаю и в этом уповании живу и умру, хотя бы Библия десять тысяч раз говорила другое». С такими душевными муками молодой Энгельс отошел от Генгстенберга и Круммахера, главарей тогдашнего ортодоксального течения, на мгновение задержался, скорее всего в недоумении, на Шлейермахере и пришел, наконец, к Давиду Штраусу; и тогда он признался друзьям, что для него нет больше возврата. «Рационалист обычного типа, – писал Энгельс, – мог бы, конечно, отвернуться от штраусовских объяснений чудес естественным путем и от его пресной морали и полезть обратно в смиренную рубашку ортодоксальности; но философское умозрение не может вновь спуститься с „высот, озаренных лучами зари“, в „туманные низины“ ортодоксальности». «Я собираюсь стать гегельянцем. Сделаюсь ли действительно, не знаю, но Штраус раскрыл мне многое в Гегеле, и

мне это кажется вполне вероятным. Гегелевская философия истории и так кажется мне написанной из моей души». Разрыв с церковностью привел непосредственно к политической ереси. По поводу одного поповского дифирамба тогдашнему прусскому королю, виновнику травли демагогов, Энгельс восклицает с пылом неистового Перси: «Я жду хорошего только от того монарха, у которого звенит в голове от пощечин, полученных им от народа, и у которого разбиты окна во дворце камнями, брошенными революционной толпой».

Этими своими взглядами Энгельс перерос «Телеграф» Гуцкова и созрел для «Немецких ежегодников» и «Рейнской газеты». Он работал в обоих этих изданиях, когда служил – с октября 1841 по октябрь 1842 г. – вольноопределяющимся в гвардейской артиллерии в Берлине и поселился в казарме у Купферграбена, неподалеку от дома, где жил и умер Гегель. Свой писательский псевдоним, Фридрих Освальд, принятый им вначале, чтобы не смущать консервативных и ортодоксальных родных, Энгельс вынужден был сохранить по еще более веским причинам, когда надел «королевский мундир». 6 декабря 1842 г. Гуцков писал в виде утешения одному писателю, которого Энгельс резко раскритиковал в «Немецких ежегодниках»: «К сожалению, это я ввел Ф. Освальда в литературу, и это оказалось довольно печальной заслугой. Несколько лет тому назад один мелкий служащий в торговой конторе, некто Энгельс, прислал мне из Бремена письма о Вупертале. Я исправил их и напечатал, вычеркнув слишком резкие личные нападки. С тех пор он присылал еще много другого, причем мне регулярно приходилось все переделывать. Потом он вдруг запротестовал против поправок, принялся изучать Гегеля и стал писать в других журналах. Еще незадолго до появления рецензии о вас я послал ему в Берлин пятнадцать талеров. Новички почти все таковы. Они обязаны нам тем, что научились думать и писать, а первое же их самостоятельное выступление – духовное отцеубийство. Эта черствость не привела бы, конечно, ни к каким дурным последствиям, если бы ей не пошли навстречу „Рейнская газета“ и издание Руге». В этих словах Гуцкова слышится не плач старика Мора в голодном заточении, а скорее кудахтание курицы, которая высидела утенка и видит, как он уплывает от нее.

Так же как конторская служба сделала Энгельса дельным купцом, и выучка в казарме выработала из него хорошего солдата; со времени военного обучения и до конца жизни военная наука была для Энгельса одним из любимых предметов его занятий. Тесное и постоянное общение с действительной жизнью восполнило пробелы умозрительной глубины в его философском сознании. Во время службы вольноопределяющимся Энгельс часто принимал участие в попойках берлинских «свободных», а также отчасти и в их борьбе и написал для них несколько брошюр; это относилось к тому времени, правда, когда характер движения еще не извратился. Уже в апреле 1842 г. появилась в одном лейпцигском издательстве анонимная брошюра Энгельса в пятьдесят пять страниц, под заглавием «Шеллинг и откровение». В ней он критиковал «новейшее реакционное покушение на свободную философию». Так он называл попытку Шеллинга, получившего кафедру в Берлинском университете, разбить гегелевскую философию своей верой в откровение. Руге думал, что брошюра написана Бакуниным, и приветствовал ее лестной похвалой. «Этот привлекательный юноша заткнет за пояс всех берлинских старых ослов», – писал он. В действительности брошюра Энгельса отражает собой еще сохранившее философский характер молодое гегельянство в его самых крайних выводах; но и другие критики не совсем не правы, усматривая в ней не столько резкую критику, сколько поэтически-философские излияния.

Приблизительно в то же время, под свежим впечатлением отрешения Бруно Бауэра, Энгельс напечатал, тоже под псевдонимом, в Неймюнстере близ Цюриха «Христианскую героическую поэму» в четырех песнях – сатиру на «торжество веры» над «верховным чёртом», который «пришел в великий ужас». В этой поэме Энгельс широко пользуется правом юности относиться ко всему с придирчивой критикой и попутно описывает в стихах себя, а также Маркса, с которым еще тогда не был лично знаком. Он сам изображен в поэме как «Освальд –

монтаньяр в сером сюртуке и брюках перечного цвета – внутри тоже приправленный перцем, самый рьяный из всех с головы до пят». Он играет на инструменте, что зовется гильотиной, и аккомпанирует на ней всегда одной и той же каватине. Неустанно раздается адская песня, вечно он рычит припев: *Formez vos bataillons! Aux armes, citoyens!..* А за ним неистово несется «черномазый парень из Трира, мощное чудовище (Маркс)». Он скачет, преисполненный бешенства, «точно хочет ухватиться за небосклон и стащить его на землю».

По окончании военной службы, в конце сентября 1842 г., Энгельс вернулся в родительский дом и оттуда отправился два месяца спустя в Манчестер, в качестве приказчика бумагопрядильни «Эрмен и Энгельс», фирмы, в которой отец его был компаньоном. Проездом через Кёльн Энгельс зашел в редакцию «Рейнской газеты» и там впервые встретился с Марксом. Встреча их была довольно холодная, так как она произошла как раз в дни разрыва Маркса с «свободными». Энгельс был настроен против Маркса письмами братьев Бауэр, а Маркс видел в Энгельсе единомышленника берлинских «свободных».

Английская культура

Энгельс прожил тогда двадцать один месяц в Англии, и это время имело для него такое же значение, как парижский год в жизни Маркса. Оба они вышли из школы немецкой философии и, исходя из нее, пришли за границей к одинаковым результатам; но Маркс понял борьбу и стремления своего времени путем изучения Французской революции, а Энгельс – благодаря знакомству с английской промышленностью.

Англия тоже пережила буржуазную революцию, даже на целое столетие раньше Франции, но – именно поэтому – в условиях гораздо меньшего общего развития. Революция в конце концов привела к компромиссу между аристократией и буржуазией, и они основали монархию сообща. Английскому среднему классу не пришлось вести такую упорную и длительную войну против королевской власти и аристократии, как третьему сословию во Франции. Но даже во Франции историческая наука, лишь озираясь на прошлое, поняла, что борьба третьего сословия на самом деле классовая борьба; в Англии же мысль о классовой борьбе возникла совершенно внове, когда пролетариат, во время билля о реформе 1832 г., вступил в борьбу с господствующими классами.

Это различие объясняется тем, что крупная промышленность гораздо глубже взрыла почву в Англии, чем во Франции. Она уничтожила старые классы и создала новые в почти осязательном процессе развития. Внутренний строй современного гражданского общества был в Англии гораздо более прозрачный, чем во Франции. Энгельс понял из истории, а также из знакомства с сущностью английской промышленности, что экономические явления, которым до того историческая наука не придавала никакого или же самое ничтожное значение, являются – по крайней мере, в современном мире – решительной исторической силой; они были основной причиной, вызвавшей столкновения классовых интересов в наше время, и там, где противоположность интересов наиболее усиливается при развитии крупной промышленности, это в свою очередь ведет к возникновению политических партий, к партийной борьбе и тем самым становится основой всей политической истории.

И деловые интересы Энгельса к тому же направляли его внимание прежде всего на область экономических отношений. Свое сотрудничество в «Немецко-французских ежегодниках» он начал с критики национальной экономии, как Маркс начал с критики философии права. Его маленькая статья написана еще с юношеским задором, но уже свидетельствует о редкой зрелости суждений. Нужно было быть немецким профессором, чтобы назвать эту статью «чрезвычайно путаным пустячком». Маркс очень верно назвал ее «гениальным эскизом». Это был именно «эскиз»: то, что Энгельс говорит об экономических теориях Адама Смита и Рикардо, далеко не имеет исчерпывающего характера и даже не всегда верно, а многие его возражения против них были уже, быть может, отчасти высказаны английскими и французскими социалистами. Но действительно гениальной была попытка вывести все противоречия гражданской экономии из действительного ее источника – частной собственности. Этим Энгельс пошел дальше Прудона, который боролся против частной собственности, оставаясь на почве частновладельческого строя. Энгельс же говорил про обесчеловечивающее влияние капиталистической конкуренции, про мальтусовскую теорию народонаселения, неустанно растущую лихорадочность капиталистического производства, кризисы промышленности, закон о заработной плате, про успехи науки, которые, при господстве частной собственности, превращаются из средств освобождения человечества в средства все большего порабощения рабочего класса и т. д. Сказанное им содержало плодотворные корни научного коммунизма в области экономической, и Энгельс действительно первый открыл эти корни.

Он сам слишком скромно судил о своих заслугах, когда сказал однажды, что «окончательная, точная выработка» его экономических положений принадлежит Марксу. Точно так же

ошибался он в своей скромности, когда говорил: «Маркс стоял выше нас всех, обладал большей дальновидностью и быстрее все охватывал своим взором» или еще когда сказал однажды, что Маркс в конце концов сам бы открыл все, что сказано было им, Энгельсом. На самом деле в их молодые годы и в той области, в которой должен был произойти и произошел решительный бой, Энгельс был тем, кто больше давал, и Маркс многое воспринял от него. Маркс был, несомненно, более одарен в философском отношении, и прежде всего был человек более систематического мышления. Если желать позабавиться детскими гаданиями на тему, если бы да кабы, ничего общего не имеющими с историческим исследованием, то можно задаться вопросом, справился ли бы Энгельс с их общей задачей в ее более осложненном французском виде так, как с нею справился Маркс. Но эту же задачу в более простой английской форме Энгельс решил не менее удачно, чем Маркс, и эта заслуга его недостаточно оценена. Впрочем, как раз в односторонне экономическом отношении его критика национальной экономики представляет довольно много недочетов. Тем, чем она выделяется и что знаменовало в ней существенный рост познания, автор обязан диалектической школе Гегеля.

Философская исходная точка выступает и с внешней осязательностью во второй статье, напечатанной Энгельсом в «Немецко-французских ежегодниках». Он изображал в ней положение Англии ссылаясь на одно произведение Карлейля, которое отметил как единственную достойную внимания книгу из литературной жатвы целого года. Такая бедность была характерной противоположностью французского богатства. Энгельс писал по этому поводу о духовном истощении английской аристократии и буржуазии; он утверждал, что образованный англичанин, по которому на континенте судят об английском национальном характере, самый презренный раб под солнцем, задыхающийся среди предрассудков – главным образом религиозных. «Только неведомая на континенте часть английской нации, только рабочие, парии Англии, бедняки, действительно добропорядочны и достойны уважения, невзирая на их грубость и деморализацию». От них идет спасение Англии, в них есть еще творческое начало; у них нет образования, но нет и предрассудков; у них еще есть силы, которые они могут применить к свершению великого национального дела; у них еще есть будущее. Энгельс указывал на то, как, выражаясь по Марксу, философия начинает пускать корни на этой «наивной народной почве»: штраусовская «Жизнь Иисуса», которую ни один приличный писатель не решался переводить и ни один издатель с именем печатать, вышла в переводе одного социалистического лектора, и ее распространяли выпусками по одному пенсу среди рабочих в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере.

Энгельс перевел «прекраснейшие» из «местами дивно прекрасных» страниц книги Карлейля, рисующей положение Англии в самых мрачных красках. Но он возражал против тех путей к спасению, которые предлагал Карлейль, как, например, новая религия, пантеистический культ героев и многое другое, и ссылаясь на Бруно Бауэра и Фейербаха. Он доказывал, что все возможности религии исчерпаны – даже пантеизм, с которым тезисы Фейербаха в *Anecdota* покончили навсегда. «До сих пор всегда ставился вопрос: что такое Бог? – и немецкая философия ответила на это: Бог есть человек. Человеку нужно только познать себя, измерить все жизненные отношения собственной меркой, судить о них применительно к себе, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей натуры; тогда он разрешит загадку нашего времени». И как Маркс истолковал фейербаховского человека, видя в нем существо человека, государства, общества, так Энгельс увидел в человеческой сущности историю, которая «наше одно и все» и выше для «нас», чем для всех прежних философских направлений, выше даже, чем для Гегеля, ибо для него она была только проверкой его логической задачи.

Чрезвычайно интересно проследить в тех статьях, которые Энгельс и Маркс напечатали каждый по две в «Немецко-французских ежегодниках», как у них обоих зарождались одинаковые мысли, только по-иному окрашенные: у одного в свете Французской революции, у другого в свете английской промышленности, этих двух мощных исторических переворотов, с которых начинается история современной гражданской общественности. При таком различии

окраски мысли их все же, по существу, одинаковые. Если Маркс вычитывал из человеческих прав анархическую сущность гражданского общества, то Энгельс следующим образом толковал конкуренцию, «основную категорию экономиста, его любимейшую дочь»: «Что сказать о законе, который может утвердиться только путем периодических революций – промышленных кризисов? Это естественный закон, опирающийся на бессознательность заинтересованных в нем». Если Маркс пришел к выводу, что человеческая эмансипация осуществится только тогда, когда человек путем претворения своих сил в силы общественные делается родовым существом, то Энгельс, соответственно этому, говорит следующее: производите сознательно, как люди, а не как разрозненные атомы без родового сознания, и тогда вы покончите со всеми искусственными и беспочвенными противоречиями интересов.

Отсюда видно, что они думали согласно, почти одинаковыми словами выражая свои мысли.

«Святое семейство»

Первой совместной работой Энгельса и Маркса было сведение счетов с их философской совестью. Оно облеклось в форму полемики против «Всеобщей литературной газеты», которую Бруно Бауэр издавал в Шарлоттенбурге с декабря 1843 г. вместе со своими братьями Эдгаром и Эгбертом.

В этом органе берлинские «свободные» пытались обосновать свое мирозерцание, или то, что они называли таковым. Бруно Бауэра Фребель приглашал работать в «Немецко-французских ежегодниках», но он в конце концов не решился примкнуть к этому изданию и продолжал твердо держаться своего философского самосознания. Упорство Бауэра объясняется, в сущности, не только тем, что его личное чувство было очень больно задето Марксом и Руге. Его едкие замечания о блаженной памяти «Рейнской газете», о «радикалах», об «умниках 1842 г.» имели также и внутреннее обоснование. Быстрота, с которой романтическая реакция уничтожила «Немецкие ежегодники» и «Рейнскую газету», как только они повернули от философии к политике, и полное равнодушие «масс» к такому «избиению» «духа» убедили Бауэра, что этот путь никуда не ведет. Он видел единственное спасение в возврате к чистой философии, к чистой теории, к чистой критике, и в области идеологической заоблачности ему не трудно было возвести философию во всемогущего владыку мира.

Программу «Всеобщей литературной газеты», поскольку вообще эта программа представляла нечто осязательное, Бруно Бауэр изложил в следующих словах: «Все великие дела прежней истории были ошибочны с самого начала и не имели решительного воздействия, потому что или ими интересовались и восторгались массы, или же они кончались самым жалким образом. И это потому, что их основная идея по существу своему должна была довольствоваться поверхностным пониманием и, следовательно, зависела от одобрения масс». Противоположность между «духом» и «массой» проходила красной нитью через все, что писалось в «Литературной газете»; она говорила, что дух знает теперь, где обретается его единственный противник: в самообмане и бессодержательности массы.

В соответствии с этим газета Бауэра относилась с осуждающей пренебрежительностью ко всем «массовым» движениям времени, к христианству и еврейству, к Французской революции и английской промышленности. Энгельс выражался еще почти слишком вежливо, когда написал в альбом газеты: «Она превратилась в старуху, эта увядшая и выветрившаяся гегелевская философия, которая наряжает и приукрашивает свое высохшее до отвратительной отвлеченности тело и косится во все стороны, приискивая себе жениха по всей Германии». Гегелевская философия была действительно доведена Бауэрами до абсурда. У Гегеля абсолютный дух всегда лишь потом проявляется в сознании философа как творческий мировой дух, и этим он, в сущности, говорит, что абсолютный дух и делает историю видимостью воображения. Гегель очень настойчиво остерегал от ложного предположения, что философствующий индивидуум и является сам абсолютным духом. Бауэры же и их приверженцы, напротив того, считали себя самих воплощением критики, абсолютного духа, который сознательно выполняет роль мирового духа через них, противопоставляя их этим остальному человечеству. Этот туман неминуемым образом рассеялся, и даже в философской атмосфере Германии и в кругу «свободных» «Всеобщая литературная газета» встретила довольно холодный прием; ни Кеппен, который и без того стал держаться в стороне, не примкнул к ней, ни Штирнер. Последний даже, напротив того, втихомолку готовился разделаться с нею. Помимо них не удавалось залучить также Майена и Рутенберга, и Бауэрам пришлось, за единственным исключением Фаухера, довольствоваться третьестепенным составом «свободных», неким Юнгницом и псевдонимом Челига, за которым скрывался прусский лейтенант, фон Зихлинский, он умер в 1900 г. генералом от инфантерии. Все это наваждение, таким образом, бесславно рассеялось в течение одного года.

«Литературная газета» не только умерла, но уже была забыта, когда Маркс и Энгельс выступили против нее в своей книге.

Эго обстоятельство было весьма неблагоприятно для их первого общего произведения, «Критики критической критики», как они сами его окрестили, или «Святого семейства»; это заглавие дано было книге по предложению издателя. Противники сейчас же стали вышучивать авторов, говоря, что они ломятся в открытую дверь; да и Энгельс сам, получив книгу в готовом виде, высказался в том смысле, что она превосходная, но слишком объемистая. Величественное пренебрежение, с которым в ней трактовалась критическая критика, не вязалось с размером книги – ее двадцатью двумя листами. Энгельс к тому же находил, что большая часть содержания будет непонятна большой публике и не представит общего интереса. В настоящее время это еще более верно, чем тогда, но зато книга приобрела очарование, которое не ощущалось или, по крайней мере, не в такой степени ощущалось при ее появлении. Один позднейший критик действительно говорит, отметив все недостатки, придирки к словам, пустые споры и даже недопустимые искажения мысли, что книга эта содержит несколько прекраснейших откровений гения Маркса, и эти страницы принадлежат и по мастерству формы, по железной выкованности языка, к лучшему, что Маркс когда-либо писал.

Маркс проявляет себя в этих местах книги мастером плодотворной критики, которая побивает идеологическое воображение положительным содержанием; она творит в то же время, как разрушает, воздвигает тем, что низвергает. Критическим фразам Бруно Бауэра о французском материализме и Французской революции Маркс противопоставил блестящие очерки этих исторических явлений. На разглагольствования Бруно Бауэра о противоположности между «духом» и «массой», «идеей» и «интересом» Маркс холодно возражает: «Идея всегда попадала впросак, когда отделялась от интереса. Всякий массовый интерес, который утверждался в истории, переходил обыкновенно, при выступлении на мировую арену, далеко за свои действительные пределы и сменялся человеческим интересом. Это иллюзия, которую Фурье называет тоном каждой исторической эпохи. Интерес буржуазии в революции 1789 г. не только ничего не „потерял“, но все „выиграл“ и имел „решительный успех“, хотя „пафос“ рассеялся и увяли „цветы восторга“, которыми этот интерес венчал его колыбель. Интерес этот был настолько мощный, что победоносно преодолел перо Марата, гильотину террористов, шпагу Наполеона, так же как распятие и чистокровность Бурбонов». В 1830 г. буржуазия осуществила свои желания 1789 г., с той только разницей, что закончилось ее политическое просвещение; в конституционно-парламентском строе она не стремилась к осуществлению идеала государственности, мирового блага и к достижению общих человеческих целей, а признала в нем официальное выражение своей исключительной власти и политическое признание своего обособленного интереса. Ошибочной революция была только для той массы, политическая идея которой не была идеей ее действительного интереса; истинный жизненный принцип ее не совпадал поэтому с жизненным принципом революции, и реальные условия освобождения ее существенно отличались от условий, в которых могла освободить себя и общество буржуазия.

Бруно Бауэр утверждал, что государство сплавливает атомы гражданского общества, а Маркс, возражая на это, объяснял сплоченность атомов тем, что они атомы только в представлении, на небе своего воображения; в действительности же они существа, чрезвычайно отличающиеся от атомов, то есть не божественные эгоисты, а эгоистичные люди. «Только политическое суеверие воображает еще в наши дни, что необходимо, чтобы гражданская жизнь сплавливалась государством; на самом деле происходит обратное: гражданское общество является оплотом для государства». На пренебрежительные слова Бауэра о значении промышленности и природы для исторического познания Маркс отвечает вопросом: полагает ли критическая критика, спрашивает он, что она подошла хотя бы к началу познания исторической истины, пока она выключает из движения истории теоретическое и практическое отношение человека к природе, естественные науки и промышленность? «Так же, как она отделяет мыш-

ление от чувств, душу от тела, так отделяет и историю от естественных наук и промышленности и видит место зарождения истории не в грубо материальной производительности на земле, а в облаках на небе».

Как Маркс заступился перед критической критикой за Французскую революцию, так Энгельс вступился за английскую промышленность. Ему пришлось при этом иметь дело с молодым Фаухером, который из всех сотрудников «Всеобщей литературной газеты» еще более других считался с земной действительностью. Любопытно читать, как метко Фаухер разъяснял тогда капиталистический закон о заработной плате, который двадцать лет спустя, при выступлении Лассаля, он посылал в преисподнюю, называя его «гнилым рикардовским законом». При всех грубых ошибках, в которых его уличал Энгельс, – Фаухер в 1844 г. не знал, что английские коалиционные запреты уничтожены были в 1824 г., со стороны Энгельса были также и придирки к словам; а в одном существенном пункте ошибался и Энгельс, правда, в другую сторону, чем Фаухер. Последний вышучивал билль о десятичасовом рабочем дне лорда Ашли, говоря, что это «ничтожная срединная мера», которая не подрубит дерево ударом топора; Энгельс же принимал его за выражение – правда, по возможности наиболее мягкое – определенно радикального принципа, ибо он не только заносил топор над внешней торговлей и тем самым над фабричной системой, но и глубоко подрубал ее корни. Энгельс, а вместе с ним и Маркс видели тогда в билле лорда Ашли попытку наложить на крупную промышленность реакционные оковы, которые будут неминуемо всегда разбиваться на почве капиталистического общества.

От своего философского прошлого Энгельс и Маркс освободились еще не вполне; с первой же строки предисловия они выдвигают «реальный гуманизм» Фейербаха против умозрительного идеализма Бруно Бауэра. Они безусловно признают гениальные выводы Фейербаха, видят его заслугу в том, что он создал великие и мастерские основные положения для критики всякой метафизики, что он поставил человека на место всякого старого хлама, в том числе и бесконечного самосознания. Но через гуманизм Фейербаха они идут дальше к социализму, через абстрактного человека – к историческому, и с изумительной проницательностью разбираются в хаотически бушующем море социализма. Они раскрывают тайну игры в социализм, которой тешилась сытая буржуазия. Даже нужда и бесконечное человеческое падение, вынужденное принимать милостыню, служат на потеху денежной и культурной аристократии, принося удовлетворение ее эгоизму, приятно возбуждая ее высокомерие. В этом весь смысл многочисленных благотворительных обществ во Франции, в Германии, многочисленных донкихотских затей с благотворительными целями в Англии, всяческих концертов, балов, спектаклей, кухонь для бедных, даже общественных подписок для пострадавших при разных катастрофах.

В идейном отношении «Святое семейство» больше всего заимствовало из главных утопистов у Фурье. Но Энгельс отделял Фурье от фурьеризма; он говорил, что разбавленный водой фурьеризм – тот, который проповедовала «Мирная демократия», – не что иное, как социальное учение части филантропической буржуазии. Он и Маркс настойчиво говорили всегда о том, чего не понимали и великие утописты: об историческом развитии, самостоятельном движении рабочего класса. Возражая Эдгару Бауэру, Энгельс писал: «Критическая критика ничего не создает, а рабочий создает все, настолько все, что может пристыдить всю критику и в своем духовном творчестве; это могут засвидетельствовать своим примером английские и французские рабочие». Будто бы взаимоисключающую противоположность между «духом» и «массой» Маркс устранял, между прочим, замечанием, что фактически коммунистической критике утопистов тотчас же ответило движение большой массы; нужно ознакомиться с любознательностью, умственной работой, духовной энергией, неутомимой жаждой умственного развития, проявляемой французским и английским рабочим, чтобы составить себе представление о человеческом благородстве этого движения.

Понятно поэтому, что Маркс особенно сильно возмущался безвкусицей перевода и в особенности комментариев, которыми Эдгар Бауэр согрешил во «Всеобщей литературной газете» против Прудона. Конечно, говорить, что Маркс возвеличивал в «Святом семействе» того же Прудона, которого несколько лет спустя так резко критиковал, – лишь академическая уловка. Маркс только восставал против пустых разглагольствований, которыми Эдгар Бауэр затемнял истинные заслуги Прудона. Маркс признавал, что Прудон открыл новые пути в области национальной экономики так же, как признавал такие же заслуги Бруно Бауэра в области богословия. Но вместе с тем он нападал на узость Бруно Бауэра в богословии, а также и на узость Прудона в области национальной экономики.

Прудон относился к собственности как к внутреннему противоречию на почве гражданской экономики, а Маркс говорил, опровергая его: «Собственность, как частная собственность, как богатство, вынуждена сохранять себя и тем самым свою противоположность – пролетариат. Это положительная сторона противоположности, удовлетворенная собою частная собственность. Пролетариат же, напротив того, вынужден, как таковой, упразднить себя и тем самым свою противоположность, делающую его пролетариатом. Он (пролетариат) отрицательная сторона противоположности, его беспокойство в себе, упраздненная и упраздняющая себя частная собственность. Внутри противоположности частный собственник является охраняющей, пролетарий разрушающей стороной. От первого исходит сохранение противоположности, от второго уничтожение ее. Частная собственность в своем национально-экономическом движении все равно идет к упразднению самой себя, но лишь путем, не зависящим от нее, путем бессознательного развития, происходящего против ее воли, обусловленного природой вещей, – только тем, что она создает пролетариат как таковой, создает нужду, сознающую свою духовную и физическую нужду, создает нечеловечность, сознающую и потому упраздняющую свою нечеловечность. Пролетариат приводит в исполнение приговор, который выносит сама себе частная собственность порождением на свет пролетариата, так же как он приводит в исполнение приговор, который выносит сам себе наемный труд порождением чужого богатства и собственной нужды. Одержав победу, пролетариат ни в коем случае не становится абсолютной стороной общества, ибо он одерживает победу, только упраздняя себя и свою противоположность. С победой пролетариата исчезает как сам пролетариат, так и обуславливающая его противоположность, частная собственность».

Маркс решительно восстает против предположения, что он возводит пролетариев в богов, приписывая им эту всемирно-историческую роль. «Скорее наоборот! Именно потому, что отрешенность от всякой человечности, даже от подобия человечности, фактически доходит до конца в развившемся пролетариате, потому, что в жизненных условиях пролетариата все жизненные условия современного общества сведены к высшей точке бесчеловечности, потому, что человек в нем потерял себя, но вместе с тем не только не приобрел теоретического сознания этой потери, но и непосредственно вынужден восстать против этой бесчеловечности велением неотвратимой, абсолютно властной нужды – этого практического выражения необходимости, – именно поэтому пролетариат должен сам себя освободить. Но он не может освободить себя, не уничтожив свои жизненные условия. Он не может уничтожить свои собственные жизненные условия, не уничтожив все нечеловеческие общественные условия, которые определяют и его положение. Он не напрасно проходит через тяжелую, но закаляющую школу труда. Дело не в том, каково в данный момент представление о своей цели у того или другого пролетария или даже у всего пролетариата. Дело в том, чем является пролетариат в своей сущности и как он, согласно этой своей сущности, исторически вынужден поступать. Его цель и его историческая миссия неоспоримым образом предначертана его собственным жизненным положением равно как и всей организацией современного буржуазного общества». И Маркс многократно повторял, что значительная часть английского и французского пролетариата уже сознает свою историческую задачу и неустанно работает над тем, чтобы довести это сознание до полной ясности.

Наряду со многими свежими источниками, из которых бьет струя жизни, в «Святом семействе» встречаются, правда, и бесплодные пространства. К таковым относятся две длинных главы, посвященные невообразимой мудрости почтенного Челиги, и они составляют тяжелое испытание для самого терпеливого читателя. Чтобы наиболее справедливо судить о книге Маркса и Энгельса, следует рассматривать ее как импровизацию, и таковой она, по-видимому, была. Как раз в те дни, когда состоялось личное знакомство Энгельса и Маркса, получен был в Париже восьмой номер «Всеобщей литературной газеты», и в нем Бруно Бауэр, правда, скрытым образом, но вместе с тем очень резко оспаривал взгляды, к которым пришли Маркс и Энгельс в «Немецко-французских ежегодниках».

Тогда, быть может, и зародилась у них мысль ответить прежнему другу в задорно веселом тоне маленьким памфлетом, который предполагалось издать как можно скорее. Энгельс действительно тотчас же написал свою часть, занимающую немногим больше листа, и очень удивился, узнав, что Маркс растягивает книгу на двадцать печатных листов. Ему казалось «курьезным» и «комичным», что при столь незначительном объеме его вклада в книгу имя его тоже стояло на заглавном листе и даже на первом месте. Маркс взялся, очевидно, за работу со свойственной ему обстоятельностью, и при этом, по известному и очень верному определению, у него, вероятно, не хватило времени, чтобы быть кратким; быть может, впрочем, он растянул материал, чтобы воспользоваться цензурной свободой, предоставляемой книгам объемом более чем в двадцать листов.

Авторы «Святого семейства» оповещали в дальнейшем читателей, что их полемическая книга лишь предвестник самостоятельных трудов, в которых они – каждый в отдельности – выяснят свое отношение к новейшим философским и социальным учениям. Что намерение это было серьезное, видно из того факта, что Энгельс уже закончил в рукописи первый из этих самостоятельных трудов, когда получил первый печатный экземпляр «Святого семейства».

Обоснование социализма

Этот труд носил заглавие «Положение рабочего класса в Англии» и вышел летом 1845 г. в Лейпциге у Виганда, тогдашнего издателя «Немецких ежегодников»; за несколько месяцев до того Виганд издал «Единственного» Штирнера. Штирнер, как последний отпрыск гегельянства, впал в плоскую мудрость капиталистической конкуренции; Энгельс же установил в своей книге основные положения для тех немецких теоретиков, которые – а это были почти все – пришли через Фейербаха и его упразднение гегелевской умозрительности к коммунизму и социализму. Он изобразил положение английского рабочего класса во всей его ужасающей, но характерной для господства буржуазии правде.

Когда Энгельс переиздал эту свою книгу почти через пятьдесят лет, он назвал ее одним из фазисов в эмбриональном развитии современного международного социализма. Он прибавил к этому: так же как человеческий зародыш воспроизводит на самых ранних ступенях своего развития жабры наших предков – рыб, – так и книга его обнаруживает на всем протяжении следы происхождения современного социализма от одного из его предков, от немецкой классической философии. Это, однако, верно лишь с тем ограничением, что следы эти еще менее заметны в «Положении рабочего класса», чем в статьях, напечатанных Энгельсом в «Немецко-французских ежегодниках». Тут нет больше речи ни о Бруно Бауэре, ни о Фейербахе; а о «друге Штирнере» Энгельс лишь упоминает несколько раз, чтобы его слегка подразнить. О существенном влиянии немецкой философии на эту книгу можно говорить никак не в смысле отсталости, а лишь в неоспоримо прогрессивном смысле.

Главное значение книги не в изображении пролетарской нужды, создавшейся в Англии при господстве капиталистического способа производства. В этом отношении у Энгельса были предшественники – Бюре, Гаскель и другие, на которых он часто ссылается. Но и подлинное возмущение против социального строя, обрекающего рабочие массы на самые страшные страдания, и потрясающее правдивое описание этих страданий, глубокое и истинное сочувствие жертвам – все это еще не составляет самого характерного в книге Энгельса. Наиболее поразительна и вместе с тем исторически значительна в ней та проницательность, с которой двадцатичетырехлетний автор постиг дух капиталистического способа производства и объяснил исходя из него не только возвышение, но и неминуемое падение буржуазии, не только нужду, но и грядущее спасение пролетариата. Суть книги заключалась в том, чтобы показать, каким образом крупная промышленность создает современный рабочий класс, делая из него обезчеловеченную, умственно и нравственно, приниженную до животности, физически расшатанную расу; вместе с тем Энгельс показывает, как современный рабочий класс, в силу исторической диалектики, законы которой выяснены каждый в отдельности, развивается и должен развиваться для того, чтобы ниспровергнуть своего творца. Путь к господству пролетариата над Англией книга Энгельса усматривала в слиянии рабочего движения с социализмом.

Выяснить это, однако, способен был лишь тот, у кого диалектика Гегеля вошла в плоть и кровь и кто сумел перевернуть ее так, чтобы она не стояла на голове, а стала на ноги. Тем самым в книге Энгельса дана была основа социализма, что и составляло намерение автора. То большое впечатление, однако, которое книга Энгельса произвела при своем появлении, вызвано было не этим, а ее чисто фактическим содержанием. Если – как с комичным самомнением выразился один академический педант – книга Энгельса сделала социализм «приемлемым для университета», то лишь в том смысле, что не один профессор обломал об нее свое ржавое копьё. Прежде всего ученая критика очень торжествовала по поводу того, что все не наступала революция, о которой Энгельс говорил, что она уже у ворот Англии. Он сам, однако, с полным правом утверждал пятьдесят лет спустя, что его не удивляет, если и не сбылись многие пророчества, сделанные им с «юношеским пылом». Поразительно, напротив того, что столь

многое из его предсказаний сбылось, хотя и не в таком «слишком близком будущем», как он предполагал.

В настоящее время «юношеский пыл», ожидавший многое «в слишком близком будущем», составляет одно из наибольших очарований книги Энгельса. Без этой тени не было бы и проливаемого его книгой света. Гениальное прозрение, угадывая будущее в настоящем, видит грядущее острее и тем самым более близким, чем здравомыслящий человеческий ум; последнему труднее привыкнуть к мысли, что нет необходимости, чтобы непременно ровно в полдень подавали суп на стол. Впрочем, тогда и кроме Энгельса многие считали, что в Англии революция уже у дверей. Об этом говорила и «Таймс», главный орган английской буржуазии; но виноватая совесть страшилась революции, предвидя в ней только разбой и поджоги, а пророческому взору социалиста открывалось зарождение новой жизни из развалин.

«Юношеский пыл» Энгельса проявлялся в течение зимы 1844/45 г. не только в этой книге. В то время как он ковал ее на наковальне, у него уже раскалялось на огне новое железо: наряду с продолжением этой же книги (по замыслу Энгельса, она являлась лишь отдельной главой более обширной работы о социальной истории Англии), Энгельс собирался издавать социалистический ежемесячный журнал совместно с Мозесом Гессом и затем также библиотеку иностранных социалистических писателей, написать критический разбор Листа и много другого. Он требовал столь же непрерывной деятельности и от Маркса, с которым у него было много общих планов. «Постарайся, – писал он ему, – закончить поскорее твою книгу по национальной экономии; если даже ты многим будешь не удовлетворен, то это ничего. Разум людской созрел, и нужно ковать железо, пока оно горячо... Время не терпит. Кончай книгу к апрелю. Сделай, как я: назначь себе срок, к которому ты непременно должен закончить работу, и постарайся напечатать книгу как можно скорее. Если тебе нельзя будет издать ее на месте, напечатай в Мангейме, Дармштадте или каком-нибудь другом городе. Но необходимо, чтобы книга скорее вышла в свет». Даже относительно «удивившей его» растянутости «Святого семейства» Энгельс утешался тем, что это к лучшему. «Многое таким образом уже теперь дойдет до читателей, – писал он, – что неизвестно сколько времени пролежало бы у тебя в письменном столе». Как часто приходилось ему в течение дальнейших десятилетий обращаться к Марксу с такими же речами.

Но, нетерпеливый в своих призывах к работе, Энгельс вместе с тем с величайшим терпением помогал Марксу, когда его гений тяжело боролся с самим собой и когда его теснили житейские невзгоды. Как только до Бармена дошло известие, что Маркса выслали из Парижа, Энгельс счел необходимым открыть подписку, «чтобы коммунистически разложить на нас всех экстренные расходы, вызванные твоим изгнанием». Сообщая Марксу, что подписка «идет хорошо», он прибавляет: «Так как я не знаю, достаточно ли этого будет для твоего устройства в Брюсселе, то, конечно, с величайшим удовольствием предоставляю в твоё распоряжение мой гонорар за первую английскую штуку. Надеюсь, что мне скоро выплатят по крайней мере часть этого гонорара, а я теперь могу обойтись без него: мой старик мне не откажет в кредите. Пусть не радуются собаки, что своей гнусностью доставили тебе денежные затруднения». И в течение целой человеческой жизни Энгельс неутомимо защищал своего друга от такого рода «радости собак».

При всем кажущемся легкомыслии Энгельса в его юношеских письмах он все же был менее всего легкомыслен по существу. Той первой «английской штуке», о которой он писал в столь легком тоне, придали весьма большой вес семь десятков лет, минувшие с тех пор; это произведение имеет первостепенное значение, как первое великое обоснование научного социализма. Энгельсу было двадцать четыре года, когда он написал свою книгу и вытряхнул ею столбы пыли из академических париков. Но Энгельс не был скороспелым талантом, который быстро расцветает в душном тепличном воздухе и потом тем скорее увядает. Его «юношеский

пыл» исходил из подлинного солнечного пламени высоких мыслей, согревавшего старость его так же, как оно согревало его молодость.

Он жил тем временем в доме своих родителей «тихой, спокойной жизнью, благодушной и добропорядочной», какой только мог желать себе «завзятейший филистер». Но скоро это ему надоело, и только «огорченные лица» стариков родителей побудили его еще раз вернуться к коммерции. Но он решил, во всяком случае, уехать весной и прежде всего направиться в Брюссель. «Семейные нелады» еще более осложнились вследствие коммунистической пропаганды в Бармене – Эльберфельде, так как Энгельс принимал в ней деятельное участие. Он писал Марксу о трех коммунистических собраниях, из которых на первом присутствовали 40 человек, на втором 130, на третьем 200. «Успех пропаганды очень большой, – писал он. – Все только о коммунизме и говорят, и у нас с каждым днем все больше сторонников. Вупертальский коммунизм факт, *une verite*, даже почти что сила». Эта сила, правда, рассеялась по простому приказу полиции и вообще имела довольно странный вид. Энгельс сам сообщал, что только пролетариат держался в стороне от коммунистического движения, которым «самый глупый народ, самый равнодушный, филистерский, не интересующийся ничем на свете, начинает почти увлекаться».

Это плохо мирилось с тем, что Энгельс писал в то же время о видах английского пролетариата. Но таков он и был: чудесный человек с головы до пят, всегда впереди других, бодрый, зоркий, неутомимый и не без той привлекательной наивности, которая столь к лицу восторженной и мужественной молодости.

Глава 5. Брюссельское изгнание

Немецкая идеология

После изгнания из Парижа Маркс переселился со своей семьей в Брюссель. Энгельс выразил опасение, что ему будут чинить неприятности и в Брюсселе, и Марксу действительно пришлось испытывать стеснения с первых же дней.

В письме к Генриху Гейне Маркс сообщает, что сейчас же по прибытии в Брюссель он был приглашен в «ведомство общественной безопасности», где от него потребовали письменного обязательства не печатать ни одной строчки по вопросам текущей бельгийской политики. Такое обязательство Маркс выдал со спокойной совестью, ибо у него не было ни намерения, ни возможности заняться этими вопросами. Прусское правительство продолжало, однако, делать бельгийскому министерству представления о прямой высылке Маркса, и ввиду этого Маркс еще в том же году, 1 декабря 1845 г., вышел из прусского подданства.

Однако Маркс ни тогда, ни после не принял подданства ни в каком чужом государстве, хотя временное правительство Французской республики сделало ему такое предложение весной 1848 г. в самой лестной для него форме. Как и Гейне, Маркс не пожелал перейти в иностранное подданство, между тем как Фрейлиграт, немецкий патриотизм которого столь часто ставили в пример этим «людям без отечества», попав в эмиграцию, ни на минуту не поколебался натурализоваться в Англии.

Весною 1845 г. в Брюссель приехал и Энгельс, и оба друга отправились вместе на шесть недель работать в Англию. Во время этого пребывания в Англии Маркс, который уже в Париже начал изучать Мак-Куллоха и Рикардо, ближе познакомился с английской экономической литературой.

Но, по собственным словам Маркса, он на этот раз успел заглянуть только в те книги, которые можно было достать в Манчестере, и познакомиться только с теми сочинениями, заметками и конспектами, которые были у Энгельса.

Энгельс работал уже во время первого пребывания в Англии в органе Роберта Оуэна, *New Moral World*, и в газете чартистов *Northern Star*. Своей вторичной поездкой он воспользовался для того, чтобы возобновить старые знакомства. И таким образом, оба друга завязали новые связи как с чартистами, так и с социалистами.

После этой поездки Маркс и Энгельс приступили вновь к общей работе. «Мы решили – как довольно лаконически писал об этом потом Маркс, – вместе написать книгу, чтобы показать, насколько наши взгляды противоположны идеологическим воззрениям немецкой философии; другими словами, чтобы покончить счеты с нашими собственными прежними философскими воззрениями. Это намерение мы выполнили в форме обстоятельной критики послегегелевской философии. Рукопись, рассчитанная на два толстых тома in octavo, давно уже находилась в Вестфалии, где ее предполагалось издать, когда мы получили известие, что изменившиеся обстоятельства помешали печатанию. Мы предоставили рукопись грызущей критике мышей, и сделали это тем охотнее, что наша главная цель была достигнута – мы столковались между собой». Мыши выполнили свое дело в буквальном смысле слова, но уцелевшие обрывки рукописи объясняют, почему сами авторы были не слишком огорчены своей неудачей.

Если уже их прежняя слишком громоздкая работа, посвященная сведению счетов с Бауэрами, была довольно непереваримая для читателей, то эти два толстых тома, объемом в пятьдесят печатных листов, были бы еще более недоступными. Работа была озаглавлена «Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Бруно Бауэра и Штирнера, равно как и критика немецкого социализма, в лице различных его

пророков». Энгельс устанавливал впоследствии по памяти, что одна только критика Штирнера равнялась по объему всей книге последнего. И те отрывки, которые были изданы впоследствии, доказывают, что память не обманывала Энгельса. Это была еще более громоздкая свержполемика, чем «Святое семейство» в самых его сухих частях. А кроме того, и оазисы в пустыне встречались здесь гораздо реже, хотя все же не вполне отсутствовали. Но диалектическая острота отдельных мест слишком быстро сменялась мелкими придирками и спором из-за слов.

Конечно, наш вкус сделался теперь более требовательным в отношении стиля. Но этим еще не все объясняется. Своими более ранними, как и более поздними, работами и даже работами того же самого времени Маркс и Энгельс показали с достаточной убедительностью, что блестяще владеют сжатой формой критической эпиграммы. Меньше всего стиль их страдал расплывчатостью. Дело объяснялось тем, что вся тогдашняя идейная борьба разыгрывалась в очень маленьком кругу лиц, из которых к тому же многие были еще в весьма юном возрасте. Тут наблюдается такое же явление, какое отмечено в истории литературы относительно Шекспира и современных ему драматургов. У противника берут какое-нибудь одно место, и вокруг отдельного оборота речи начинается полемика не на жизнь, а на смерть; слишком буквальным или произвольным истолкованием мысли противника ей стараются придать возможно глупый вид. Все эти приемы, равно как и склонность к безграничным преувеличениям, были рассчитаны не на большую публику, а на утонченное понимание профессионалов. То, что в шекспировском остроумии кажется нам иногда неприятным или даже непонятным, объясняется тем, что Шекспир часто сознательно или бессознательно руководствовался в своем творчестве соображением: а что скажут на это Грин и Марлоу, Джонсон, Флетчер и Бомон.

Приблизительно так же объясняется тон, в который, намеренно или бессознательно, впадали Маркс и Энгельс, когда имели дело с Бауэром, Штирнером и другими старыми бретерами, изошрившимися в турнирах бесплотной абстракции. Поучительнее, без сомнения, было бы знать, что сказали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» о Фейербахе, ибо в данном случае дело, по существу, не ограничивалось одной отрицательной критикой. К сожалению, этот отдел книги остался незаконченным. Некоторые афоризмы о Фейербахе, написанные Марксом в 1845 г. и напечатанные Энгельсом спустя несколько десятилетий, дают, однако, достаточно ясные указания на этот счет. Маркс усматривал в материализме Фейербаха тот же недостаток, какой в студенческие годы находил в материализме Демокрита: отсутствие «действенного принципа» (das «energisches Prinzip»). Главный недостаток всего прежнего материализма, по мнению Маркса, состоял в том, что действительность, воспринимаемый внешними чувствами предметный мир, рассматривалась им лишь в форме объекта или в форме созерцания, а не как непосредственная человеческая деятельность, не применительно к практике, не субъективно. Деятельную же сторону, в противоположность материализму, развивал до сих пор только идеализм; но он развивал ее отвлеченно, так как идеализм, естественно, не признает конкретной действительности как таковой. Другими словами: откинув *всего* Гегеля, Фейербах откинул и то, от чего не следовало отказываться. Задача состояла в том, чтобы всереволюционизирующую диалектику Гегеля перенести из мира идей в мир действительности.

Еще из Бармена Энгельс, со свойственными ему быстротой и натиском, написал письмо Фейербаху, делая попытку завербовать его в ряды коммунистов. Фейербах ответил в дружественном тоне, но предложение – по крайней мере для данного времени – отклонил. Он обещал, если ему удастся, приехать на Рейн ближайшим летом, и Энгельс надеялся, что «угорворит» тогда Фейербаха в необходимости переселиться и ему в Брюссель. Пока же Энгельс направил к Марксу, в качестве «превосходного агитатора», ученика Фейербаха, Германа Криге.

Фейербах, однако, не приехал на Рейн, а его ближайшие работы показали, что он так и не расставался со своими «старыми стоптанными сапогами». И ученик Фейербаха, Криге, тоже

не оправдал надежд. Он, правда, перевез коммунистическое учение через океан в Америку, но так бесчинствовал в Нью-Йорке, что это пагубно отразилось и на коммунистической колонии в Брюсселе, которая к тому времени начала группироваться вокруг Маркса.

«Истинный» социализм

Предполагалось, что вторая часть задуманного труда будет посвящена немецкому социализму в лице его различных пророков и подвергнет уничтожающей критике «всю нелепую и безвкусную литературу немецкого социализма».

Дело шло о Мозесе Гессе, Карле Грюне, Отто Люнинге, Германе Пютманне и других писателях, которые имели тогда в своем распоряжении довольно много литературных органов, особенно ежемесячников. Таковы были: «Зеркало общества», ежемесячный журнал, выходивший с лета 1845 по лето 1846 г., затем «Рейнские ежегодники» и «Журнал немецкого бюргера», далее ежемесячник «Вестфальский пароход», журнал, который начал выходить в 1845 г. и существовал до самой германской революции, и, наконец, отдельные ежедневные органы, как, например, «Трирская газета».

Своеобразное литературное направление, которое обслуживали эти органы, Карл Грюн окрестил однажды *истинным* социализмом. Маркс и Энгельс насмешливо подхватили это определение и увековечили его. «Истинный» социализм просуществовал недолго. Уже в 1848 г. он испарился бесследно; с первым выстрелом революции направление это исчезло само собой. На умственное развитие Маркса оно не оказало никакого влияния; Маркс с самого начала занял по отношению к нему позицию критика, стоящего гораздо выше критикуемого им учения. Но резкий приговор, который он вынес «истинному социализму» в «Коммунистическом манифесте», все-таки не дает исчерпывающего представления об отношении к нему Маркса. Порою Марксу казалось, что «истинный социализм, несмотря на все его нелепости, все-таки может, перебродивши, как молодое вино, выйти на правильную дорогу. Такого же мнения, еще в большей степени, держался и Энгельс.

Энгельс издавал вместе с Мозесом Гессом журнал «Зеркало общества», в котором одну статью напечатал и Маркс. В брюссельскую эпоху оба они работали вместе с Гессом, и одно время могло казаться, что Гесс совершенно слился со взглядами Маркса и Энгельса. Маркс несколько раз пытался привлечь Генриха Гейне к сотрудничеству в «Рейнских ежегодниках». И если не сам Маркс, то, во всяком случае, Энгельс печатался и в «Рейнских ежегодниках», и в «Журнале немецкого бюргера», которые оба издавались Пюттманом; а в «Вестфальском пароходе» сотрудничали и Маркс, и Энгельс. Здесь Маркс напечатал тот единственный отрывок «Немецкой идеологии» – пространную и резкую критику одной фельетонной работы Карла Грюна о социальном движении во Франции и Бельгии.

«Истинный» социализм тоже порожден был преодолением гегелевской философии, и ввиду этого иногда утверждают, будто Маркс и Энгельс сами вначале принадлежали к лагерю «истинного» социализма и поэтому впоследствии критиковали его с тем большею резкостью. Но это не соответствует истине. Совершенно верно, что обе стороны пришли к социализму от Гегеля и Фейербаха. Но в то же время, как Маркс и Энгельс изучали социализм, руководствуясь историей Французской революции и развитием английской промышленности, «истинные» социалисты довольствовались тем, что переводили на «плохой немецко-гегелевский язык» социалистические формулы и ходячие словечки. Маркс и Энгельс пытались поднять «истинных» социалистов выше такого уровня и проявили оба достаточно справедливости, чтобы рассматривать все это направление как продукт германской истории. Карл Грюн и его товарищи толковали социализм как праздные мысли о воплощении в действительность идей человечности. И им несомненно оказана была большая честь, что и Маркс и Энгельс сопоставляли это толкование со взглядом Канта, который тоже понимал волеизъявления Великой французской революции только как законы истинно человеческой воли.

Маркс и Энгельс проявляли много долготерпения, но также и строгости в своих педагогических заботах об «истинных» социалистах. В «Зеркале общества» 1845 г. Энгельс, как соизда-

тель, пропускал еще доброму Гессу многое, что ему самому было, наверно, крайне не по душе. Но уже в 1846 г., в «Журнале немецкого бюргера», Энгельс портил немало крови «истинным» социалистам: «„Немного человечности“, как принято выражаться в новейшее время, немного „реализации“ этой человечности, или, вернее, чудовищности, очень немного о собственности из третьих или четвертых рук, немного о страданиях пролетариата, организации труда, насаждении неизбежных, но скучных фереинов для поднятия низших классов народа. И наряду с этим безграничное невежество в вопросах политической экономии и действительной общественной жизни. Таково содержание всей их литературы, которая благодаря теоретической беспартийности и „абсолютному беспристрастию“ мысли утрачивает последние следы энергии и действительности. И такой скукой хотят революционизировать Германию, поднять пролетариат, вызвать в массах способность думать и действовать!» Так писал Энгельс о литературе «истинных социалистов».

В своем отношении к «истинным» социалистам Маркс и Энгельс прежде всего считались с тем, какое влияние тот или иной шаг может оказать на рабочих, на пролетарские массы. Если из всех представителей «истинного» социализма они наиболее резко нападали на Карла Грюна, то не только потому, что у Грюна было больше слабых мест, чем у других, но и потому, что, живя в Париже, Грюн вносил вреднейшую смуту в ряды рабочих и оказывал роковое влияние на Прудона. И если в «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс с крайнею резкостью отмежевываются от «истинного» социализма, давая понять, что они включают сюда и прежде него их друга Гесса, то делают это, чтобы положить начало практической агитации среди международного пролетариата.

В соответствии с этим Маркс и Энгельс готовы еще были простить «истинным» социалистам их «невинный педантизм» и ту наивность, с которой они «принимали всерьез свои беспомощные упражнения, трубя о них на весь свет». Но они не прощали им будто бы оказываемую поддержку правительствам. Борьба буржуазии против домартовского абсолютизма и феодализма была для «истинных» социалистов, как утверждали Маркс и Энгельс, «желанным поводом», чтобы напасть на либеральную оппозицию с тыла. «Он („истинный социализм“) послужил для германских абсолютистских правительств с их свитой попов, школьных учителей, юнкеров и бюрократов желчным пугалом против подымающей голову буржуазии. Он был подслащенным дополнением к дождю пуль и нагаек, которыми эти правительства обрушивались на восстающих немецких рабочих». Все это было сильно преувеличено по существу и совершенно несправедливо по отношению к определенным лицам.

Сам Маркс указал в «Немецко-французских ежегодниках» на своеобразное положение, создавшееся в Германии; оно заключалось в том, что буржуазия не могла восстать против правительств, не вызвав в то же время восстания рабочих против самой буржуазии. Задача социализма состояла поэтому в поддержке либерализма, когда он еще выступал революционно, и в борьбе против него, когда он становился реакционным. В отдельных случаях задача эта была не легкая. Маркс и Энгельс тоже иногда защищали либерализм, считая его еще революционным, хотя на самом деле он уже был реакционным. «Истинные» социалисты часто увлекались в обратную сторону и осуждали либерализм как таковой, что могло быть только приятно правительствам. Больше всех грешил в этом отношении Карл Грюн, но рядом с ним также и Мозес Гесс, а меньше всех Отто Люнинг, редактор «Вестфальского парохода». Но как ни виновны в этом отношении «истинные» социалисты, все же следует признать, что вина их заключалась в глупости, в непонимании, но отнюдь не в желании оказать поддержку правительствам. Во время революции, которая сразу же обрекла на смерть все их измышления, «истинные» социалисты, безусловно, стояли на левом крыле буржуазии. Не говоря уже о Гессе, который боролся еще в рядах германской социал-демократии, но и вообще ни один из представителей «истинного» социализма не перебежал на сторону правительства. В этом отношении у них

совесть гораздо чище, чем у представителей всех других оттенков буржуазного социализма, как тогдашнего, так и нынешнего.

«Истинные» социалисты питали также большое уважение к Марксу и Энгельсу; они охотно открывали им страницы своих изданий, хотя при этом доставалось и представителям «истинного социализма». Не злобным коварством, а очевидной неясностью мысли объяснялось то, что они оставались какими были. Они любили старую песенку филистеров всего мира: медленным шагом, робким зигзагом... Молодая партия не должна быть слишком строга. Если полемика неизбежна, то следует, по крайней мере, соблюдать хороший тон, избегать чрезмерной резкости, не отталкивать противника. Людей с такими именами, как Бауэр, Руге, Штирнер, необходимо щадить и т. п. Все это, конечно, не могло нравиться Марксу. «Характерно для этих старых баб, – заметил однажды Маркс по этому поводу, – что они стараются затушевать и подсластить всякую серьезную партийную борьбу». Однако в отдельных случаях здоровые взгляды Маркса встречали сочувствие у «истинных» социалистов; в лице Иосифа Вейдемейера, который состоял в родстве с Дюннингом и принимал участие в редактировании «Вестфальского парохода», Маркс и Энгельс приобрели одного из самых верных сторонников.

Вейдемейер был сначала артиллерийским офицером в прусской армии. В силу своих политических убеждений он оставил военную службу, получил место помощника редактора «Трирской газеты», которая находилась под идейным влиянием Карла Грюна, и втянулся в компанию «истинных» социалистов. Неизвестно, приехал ли Вейдемейер весной 1864 г. в Брюссель специально с целью познакомиться с Марксом и Энгельсом или же по какому-нибудь другому поводу. Во всяком случае, он быстро сблизился с ними и сделался решительным противником общего воя по поводу резких выступлений Маркса и Энгельса. Вейдемейер был уроженец Вестфалии, человек уравновешенный и несколько тяжеловесный; но в характере у него была большая выдержка и прямодушие, отличающее вестфальцев. Большим литературным дарованием Вейдемейер не отличался; вернувшись в Германию, он служил землемером при постройке железной дороги Кёльн-Минден, а в «Вестфальском пароходе» работал только между делом. Но, будучи практиком по натуре, он старался прийти на помощь Марксу и Энгельсу в другой нужде, которая становилась все более чувствительной: он старался подыскать для них издателя.

Литературное бюро в Цюрихе, благодаря проискам Руге, было закрыто для Маркса. Руге охотно признавал, что Маркс едва ли напишет что-либо плохое; но вместе с тем, приставая к горлу, он потребовал от своего компаньона Фребеля, чтобы тот прервал все сношения с Марксом. Лейпцигский книгопродавец Виганд, главный издатель младогегельянцев, уже раньше отказался печатать марксовскую критику Бауэров, Фейербаха и Штирнера. Маркс и Энгельс поэтому чрезвычайно обрадовались, когда Вейдемейер нашел у себя на родине, в Вестфалии, двух богатых коммунистов, их имена были Юлиус Мейер и Ремпель, которые согласились дать нужные деньги для организации книгоиздательства. Дело сразу предполагалось поставить на широких началах. Имелось в виду немедленно приступить к изданию «Немецкой идеологии», библиотеки социалистических писателей и трехмесячного журнала под редакцией Маркса, Энгельса, а также Гесса.

Однако, когда дело дошло до платежей, оба капиталиста отступились вопреки своим устным обязательствам, данным не только Вейдемейеру, но и Гессу. В надлежащий момент нашлись «внешние обстоятельства», которые помешали им доказать свою коммунистическую щедрость на деле. Таким образом, Вейдемейер, сам того, конечно, не желая, доставил Марксу и Энгельсу большое разочарование. Оно усугубилось еще тем, что он безуспешно предлагал «Немецкую идеологию» целому ряду других издателей, а чтобы прийти на помощь Марксу в его острой нужде, прибег к денежным сборам среди единомышленников в Вестфалии. В пользу его честности и добропорядочности говорит, впрочем, то, что Маркс и Энгельс в дальнейшем общении с ним очень скоро забыли об этих медвежьих услугах.

Но во всяком случае, рукопись «Немецкой идеологии» теперь окончательно предоставлена была «грызущей критике мышей».

Вейтлинг и Прудон

Гораздо больший драматизм и более значительный общественный интерес, чем критика философов послегегелевской поры и «истинных» социалистов, представляют собой столкновения Маркса с двумя гениальными пролетариями, оказавшими на него большое влияние в начале его деятельности.

Вейтлинг и Прудон вышли из недр рабочего класса и были здоровые, сильные и богато одаренные натуры. Внешние обстоятельства очень благоприятствовали обоим. Им, вероятно, было бы не трудно «выйти в люди» и явить пример тех редких исключений, которые дают повод филистерам всех стран утверждать, будто каждому таланту из рабочей среды открыта дорога в ряды имущих. Но и Вейтлинг и Прудон презрели этот путь и добровольно избрали удел нищеты, чтобы бороться за своих товарищей по классу и по страданиям.

Оба рослые, представительные, жизнерадостные, полные сил, они были как бы созданы для того, чтобы пользоваться всеми наслаждениями жизни. Но они сознательно обрекали себя на самые жестокие лишения, чтобы следовать своим целям. «Узенькая постель, часто втроем в одной комнатухе, грубая доска вместо письменного стола и иногда чашка черного кофе» – так жил Вейтлинг и в то время, когда его имя уже внушало страх сильным мира сего. И подобный же образ жизни вел Прудон в своей каморке в Париже; он носил вязаную шерстяную фуфайку и постукивающие деревянные башмаки, когда его имя приобрело уже европейскую известность.

У обоих текла в жилах смешанная немецкая и французская кровь. Вейтлинг был сын французского офицера, и когда возмужал, то поспешил в Париж, чтобы черпать из источников французского социализма. Прудон родился в старом графстве бургундском, которое только во времена Людовика XIV присоединено было к Франции. Прудону всегда ставили на вид, что у него «немецкая голова» или немецкая путаная голова. Во всяком случае, Прудон, как только определилось его духовное самосознание, всегда тяготел к немецкой философии, в представителях которой Вейтлинг, напротив того, видел только «сеятелей тумана». С другой стороны, Прудон не находил достаточно резких слов, чтобы выразить свое отрицательное отношение к великим утопистам, а Вейтлинг, наоборот, считал себя обязанным им всем, что у него было лучшего.

Вейтлинг и Прудон оба завоевали себе одинаково большую славу, но обоим им выпала также на долю горькая судьба. Они были первыми пролетариями современности, которые дали миру историческое доказательство высокого духа и силы, присущих рабочему классу. Они дали миру историческое доказательство того, что рабочий класс современности может сам взять в руки дело своего освобождения. Они первые прорвали заколдованный круг, в котором до того замкнуты были рабочее движение и социализм. В этом смысле их деятельность составляет эпоху, в этом смысле их творчество и их борьба остались образцами для следующих поколений борцов, в этом смысле они оказали плодотворное влияние на зарождавшийся научный социализм. Маркс больше чем кто-либо осыпал похвалами Вейтлинга и Прудона в начале их деятельности. Прудон и Вейтлинг были для него живым воплощением тех идей, к которым он пришел умозрительным путем, преодолев гегелевскую философию.

Но Вейтлингу и Прудону выпали на долю не только одинаковая слава, но и одинаково печальный рок. Несмотря на их проницательность и дальновидность, Вейтлинг не пошел дальше кругозора немецкого ремесленника, а Прудон – дальше кругозора французского мелкого буржуа. И поэтому они разошлись с человеком, который блестяще завершил то, что они блестяще начали. Причиной расхождения было не личное самолюбие, не капризное упрямство, хотя, может быть, впоследствии – по мере того, как Вейтлинг и Прудон начинали чувствовать, что волна исторического развития относит их на мель, – выступили и такие мотивы. Столкновения Вейтлинга и Прудона с Марксом показывают, что они просто не понимали его стремле-

ний. Они были во власти ограниченного классового сознания, и оно проявлялось тем сильнее, что жило в них бессознательно.

В начале 1846 г. Вейтлинг приехал в Брюссель. Его агитацию в Швейцарии подрезали, с одной стороны, беспощадные преследования, с другой – внутренняя противоречивость его собственной позиции. Тогда он отправился в Лондон, но не мог там справиться с деятелями Союза Справедливых. Он сделался жертвой своей жестокой судьбы именно потому, что, спасаясь от нее, возомнил себя пророком. Волна чартистской агитации подымалась в это время в Англии все выше и выше. Но Вейтлинг, вместо того чтобы с головою броситься в это движение, занялся разработкой новой системы мышления и речи и носился с планом создания всемирного языка; эта затея становилась все более его излюбленной причудой. Он легкомысленно брался за такие задачи, которые сплошь и рядом были ему не по плечу. Благодаря этому он все больше замыкался в себе и отказался от подлинного источника своей силы – реальной жизни своего класса.

Переселение в Брюссель было еще наиболее разумным шагом Вейтлинга. Если кто-нибудь мог спасти его в идейном отношении, то это был Маркс. Что Маркс принял его самым радушным образом, известно не только по словам Энгельса, но и самого Вейтлинга. Идейное сближение между ними оказалось, однако, невозможным. На собрании брюссельских коммунистов 30 марта 1846 г. между Марксом и Вейтлингом произошло чрезвычайно резкое столкновение. Оно было вызвано обидными нападками Вейтлинга, как он сам сообщает об этом в письме к Гессу. В то время велись переговоры об организации нового книгоиздательства, и Вейтлинг вздумал утверждать, что Маркс хочет отрезать его от «денежных источников», чтобы самому воспользоваться «хорошо оплачиваемыми переводами». Маркс, однако, и после этого продолжал помогать Вейтлингу, чем мог; 6 мая Гесс, тоже на основании слов самого Вейтлинга, писал Марксу из Вербье: «Как я и ожидал от тебя, ты, несмотря на столкновения с Вейтлингом, не закрываешь перед ним кошелек, пока у тебя есть в нем что-нибудь». А у Маркса было у самого донельзя мало в кошельке.

Но спустя несколько дней Вейтлинг довел дело до непоправимого разрыва. Американская пропаганда Германа Криге не оправдала надежд Маркса и Энгельса. В еженедельнике «Народный трибун», который Криге издавал в Нью-Йорке, не было ничего, кроме пустых широковещательных фраз и сентиментального ребячества. Ежедневник не имел ничего общего с принципами коммунизма и вносил прямую деморализацию в ряды рабочих. Еще хуже было то, что Криге писал нелепые просительные письма, выклянчивая у американских миллионеров по несколько долларов для своего журнала. При этом он выдавал себя за литературного представителя немецкого коммунизма в Америке, ввиду чего действительные представители коммунизма сочли необходимым протестовать против компрометировавшего их сообщества.

16 мая Маркс и Энгельс, а также их друзья решили выразить такой мотивированный протест в форме циркулярного письма к товарищам и хотели послать прежде всего это письмо для опубликования в самом органе Криге. Один только Вейтлинг не пожелал подписать протест. «Народный Трибун», заявил он, коммунистический орган, вполне соответствующий американским условиям. У коммунистической партии столько могущественных врагов в самой Европе, что ей незачем думать об Америке, да еще разжигать там братоубийственную войну. И Вейтлинг не удовольствовался отказом от участия в протесте; он отправил еще письмо Герману Криге, возбуждая его против «отъявленных интриганов». «Пресловутая лига, – писал он, – состоит из двенадцати или двадцати человек, распоряжается весьма толстой мощной и занята борьбой против меня, как реакционера. Сначала им надо уничтожить меня, потом других, потом собственных друзей; а затем уж эти господа начнут перерезывать горло друг другу... Для этих интриг у них есть теперь громадные деньги, а я нигде не нахожу издателя. Мы с Гессом стоим совершенно особняком от этой компании; но Гесс, как и я, в опале». После такого письма и Гесс отрекся от этого ослепленного человека.

Криге напечатал протест брюссельских коммунистов, который был затем перепечатан Вейдемейером в «Вестфальском пароходе». Но в качестве противоядия Криге присоединил к протесту и письмо Вейтлинга. Кроме того, Криге убедил Ассоциацию социальных реформ – немецкую рабочую организацию, которая признала «Еженедельник» Криге своим органом, – пригласить Вейтлинга в редакторы и послать ему деньги на проезд в Америку. Таким образом Вейтлинг исчез из Европы.

В те же майские дни подготовлялся также разрыв между Марксом и Прудонем. Не имея собственного органа, Маркс и его друзья старались по мере возможности заполнить этот пробел, прибегая к печатным или литографированным циркулярным письмам, как это было в истории с Криге. Вместе с тем они старались заручиться постоянными корреспондентами в тех крупных центрах, где жили коммунисты. Такие корреспондентские бюро существовали в Брюсселе и Лондоне, и предполагалось учредить бюро и в Париже. Маркс написал Прудону, прося его о сотрудничестве. В письме из Лиона, от 17 мая 1846 г., Прудон ответил согласием и только оговорился, что не может обещать писать часто и много. Но при этом он воспользовался случаем, чтобы прочесть своему адресату длиннейшее наставление, которое показало Марксу, какая пропасть раскрылась между ним и Прудонем.

«Я исповедую теперь почти абсолютный антидогматизм в экономических воззрениях», – писал Прудон. Он настоятельно советует Марксу не впадать в то противоречие, в какое впал его земляк Лютер, когда после низвержения католической теологии немедленно же стал усердно водружать знамя теологии протестантской и прибегал при этом в изобилии к анафемам и отлучениям. «Не нужно создавать новую работу для человеческого рода новой идейной путаницей; дадимте миру образец мудрой и дальновидной терпимости; не будемте разыгрывать из себя апостолов новой религии, хотя бы это была религия логики и разума». Совершенно так же, как «истинные» социалисты, Прудон хотел сохранить привычный идейный разброд, не омраченный резкой борьбой; для Маркса же устранение его было первейшей предпосылкой успешной коммунистической пропаганды.

О революции, в которую он долгое время верил, Прудон теперь не хотел и слышать. «Я предпочитаю сжечь институт собственности на медленном огне, чем дать ему новую силу, устроив Варфоломееву ночь для собственников». О том, какими средствами разрешается эта проблема, Прудон обещает обстоятельно поведать в сочинении, которое уже наполовину готово. По выходе в свет этого сочинения пусть Маркс обрушит на него громы и молнии, и Прудон обещает принять их со смирением, утешаясь надеждой на скорый реванш. «Попутно я должен сказать вам, что намерения французского рабочего класса, по-видимому, вполне совпадают с моими взглядами; жажда знаний так велика у наших пролетариев, что они окажут очень плохую встречу всякому, кто не предложит им иного напитка, кроме крови». В заключение Прудон счел долгом взять под свою защиту Карла Грюна. Это сделано было в ответ на письмо Маркса, в котором последний предостерегал Прудона против плохо переваренного Грюном гегельянства. Не зная немецкого языка, пишет Прудон, он вынужден пользоваться Грюном и Эвербеком при изучении Гегеля и Фейербаха, как и Маркса – Энгельса. Грюн намерен перевести его новейшее сочинение на немецкий язык. Пусть Маркс окажет содействие распространению немецкого издания. Это будет почетно для всех.

Конец прудоновского письма звучит как прямое издевательство, хотя Прудон, вероятно, не хотел обидеть Маркса. Во всяком случае, Марксу едва ли было приятно, когда Прудон высокопарно изображал его человеком, который подносит рабочим «кровь» для утоления жажды знаний. А подвиги Карла Грюна только усиливали это недовольство.

В связи с этим, а также еще по некоторым другим причинам Энгельс решил в августе 1846 г. переселиться в Париж и взять на себя корреспондирование из этого города, который все еще оставался важнейшим центром коммунистической пропаганды. Парижских коммунистов

к тому же надо было осведомить о разрыве с Вейтлингом, о попытках наладить издательство в Вестфалии и о прочих тогдашних делах и интересах.

На первых порах сообщения Энгельса, которые он направлял частью в брюссельское бюро, частью лично Марксу, проникнуты были большим оптимизмом; но мало-помалу для Энгельса стало выясняться, что Грюн «напакостил» весьма основательно. Осенью вышла новая работа Прудона; она, как и следовало ожидать после его письма, показала, что автор окончательно застрял в болоте. Марксовы «громы и молнии», согласно высказанному Прудоном пожеланию, не заставили себя ждать. Но обещанного реванша не последовало, если не считать ответных грубых ругательств Прудона.

Исторический материализм

Прудон озаглавил свою книгу «Система экономических противоречий», с подзаголовком «Философия нищеты». Свой ответ Маркс озаглавил «Нищета философии» и, чтобы вернее нанести удар противнику, написал свою книгу по-французски. Своей непосредственной цели Маркс, однако, не достиг; влияние Прудона на французских рабочих и на пролетариев романских стран вообще не только не пало, а продолжало расти, и Марксу пришлось иметь дело с прудонизмом еще в продолжение целого ряда лет.

Но ценность, а также историческое значение «Нищеты философии» от этого нисколько не пострадали. Эта книга является вехой не только в жизни Маркса, но и в истории науки. В ней впервые научно разработаны важнейшие пункты историко-материалистического мировоззрения. Маркс высказывал эти положения и в прежних сочинениях, но там они сверкали лишь отдельными искрами света. Впоследствии он дал и систематическое, сжатое изложение своих взглядов. Но в работе, направленной против Прудона, его положения развиты с убедительной ясностью победоносной полемики. Обоснование же взглядов исторического материализма было самой крупной научной заслугой Маркса. Он сделал этим для исторической науки то же, что сделал Дарвин для естествознания.

Доля заслуги принадлежит в этой области и Энгельсу – и гораздо большая доля, нежели это скромно допускал сам Энгельс. Но окончательную классическую формулировку основной мысли Энгельс, без сомнения, с полным правом приписывал исключительно Марксу. Уже весной 1845 г., во время свидания в Брюсселе, Маркс, по словам Энгельса, изложил ему в совершенно законченном виде основные положения исторического материализма: что основой для политической и умственной истории каждого периода являются экономические условия производства и с необходимостью вытекающая из них общественная дифференциация данного исторического периода; что поэтому вся история человечества была историей борьбы классов на различных ступенях общественного развития, историей борьбы между эксплуатируемыми и эксплуататорами, поработенными и поработителями, и что борьба достигла теперь той ступени, когда эксплуатируемый и угнетенный класс, пролетариат, не может уже освободить себя от угнетателей и поработителей, то есть от буржуазии, не освободив в то же время все общество от всякого порабощения и угнетения – раз и навсегда.

Этот основной тезис и является краеугольным камнем «Нищеты философии». К нему, как к фокусу, сходятся лучезарные мысли, в таком изобилии рассыпанные в книге. В отличие от многословной, зачастую утомительной полемики, которую Маркс вел против Бруно Бауэра и Штирнера, «Нищета философии» отличается необыкновенной сжатостью, ясностью, сосредоточенностью.

Книга состоит из двух частей. В первой мы видим Маркса в роли Рикардо, ставшего социалистом, как выразился однажды Лассаль. Во второй части Маркс выступает в роли Гегеля, ставшего экономистом. Рикардо доказал, что обмен товаров в капиталистическом обществе происходит на основе содержащегося в данном товаре рабочего времени. Прудон выставил требование, чтобы эта «ценность» товаров была признана «конституированной», дабы при одинаковом количестве затраченного труда люди могли прямо обменивать один продукт на другой. Этим путем он хотел преобразовать весь общественный строй: все люди должны превратиться в рабочих, которые непосредственно выменивают друг у друга продукты в одинаковом количестве затраченного на их производство рабочего времени. Уже английские социалисты пытались сделать эти «эгалитарные» выводы из теории Рикардо и применить их на практике, но их «обменные банки» очень быстро терпели банкротство.

В «Нищете философии» Маркс показал, что «революционная теория», придуманная Прудоном для освобождения рабочего класса, на самом деле представляет собою формулу

современного рабства рабочего класса. Из своего закона стоимости Рикардо логически вывел закон заработной платы: стоимость товара, называемого «рабочая сила», измеряется количеством труда, необходимого для производства тех продуктов, которые нужны рабочему, дабы он мог поддерживать свою жизнь и продолжать свой род. Представлять себе индивидуальный обмен без классовых противоречий есть буржуазная иллюзия. Это значит видеть в буржуазном обществе вечную справедливость и высшую гармонию, при которых ни один человек не имеет возможности обогащаться за счет других людей.

В живой действительности происходит нечто иное, и Маркс так это определяет: «С момента возникновения цивилизации производство начинает строиться на противоположности между профессиями, сословиями, классами, наконец – на противоположности между накопленным трудом и трудом непосредственным. Без противоположностей нет прогресса: по этому закону шло все развитие цивилизации до наших дней. Производительные силы развивались до сих пор на основе этого господства классового закона. При помощи своей «конституированной стоимости» Прудон хотел обеспечить рабочему все возрастающий продукт труда, увеличивающийся с каждым днем благодаря прогрессу коллективной работы. В ответ на это Маркс указывал, что развитие производительных сил, увеличившее производительность труда английского рабочего с 1770 по 1840 г. в 27 раз, исторически обусловлено рядом обстоятельств, основанных на классовых противоречиях. Таковы: накопление капиталов в форме частной собственности, современное разделение труда, анархия конкуренции, система наемного труда. Чтобы стал возможен излишний прибавочный труд, должны были существовать классы, которые на этом наживались, и классы, которые благодаря этому гибли.

В качестве первых образчиков «конституированной стоимости» Прудон указывал на золото и серебро, утверждая, что эти металлы стали деньгами только в силу некоего суверенного помазания на такую роль со стороны государственных правителей (суверенов). Ничего подобного, отвечал Маркс. Деньги не вещь, а выражение известных общественных отношений; как и индивидуальный обмен, деньги стоят в соответствии с определенным способом производства. «Надо поистине не иметь никакого представления об истории, чтобы не знать, что во все времена и эпохи суверены сами должны были применяться к экономическому развитию и никогда не могли диктовать ему свою волю... Право есть только официальное признание факта». Чеканя монету, суверены определяли не стоимость данного золотого обрубка, а только известный вес его. Как раз золото и серебро меньше всего являются выразителями «конституированной стоимости». Именно в своей роли денежных знаков золото и серебро являются единственными товарами, стоимость которых не измеряется издержками производства. Поэтому в денежном обращении золото и серебро могут быть заменены бумажными деньгами, как это давно уже разъяснил Рикардо.

На коммунистическую конечную цель Маркс намекал, говоря о том, что «правильная пропорция между предложением и спросом», к которой стремился Прудон, была возможна только в те времена, когда средства производства были ограничены, когда обмен совершался в необычайно узких пределах, когда спрос господствовал над предложением, потребление – над производством. Такая пропорция сделалась невозможной с возникновением крупной промышленности; уже ее орудия, машины и пр. требуют, чтобы производство шло во все возрастающем масштабе. Крупная промышленность не может дожидаться спроса; она, как бы повинувшись физическому закону, неудержимо идет навстречу постоянной смене промышленного расцвета и депрессии, кризиса, застоя, нового расцвета и т. д. «Анархия в производстве, которая является источником такой массы страданий, в современном обществе, при господстве промышленности, основанной на индивидуальном обмене, является вместе с тем источником всяческого прогресса. Поэтому остается одно из двух: либо желать сохранения правильных пропорций прежних веков при производительных средствах нашего времени, и тогда неизбежно стать реакционером и утопистом в одно и то же время; либо следует желать прогресса

без анархии, и тогда, чтобы удержать производительные силы на современном уровне, остается отказаться от индивидуального обмена».

Вторая глава «Нищеты философии» была еще важнее первой. В первой главе Маркс имел дело с Рикардо, по отношению к которому питал еще некоторое научное пристрастие, – он, между прочим, беспрекословно признавал еще его закон заработной платы. Во второй главе речь шла о Гегеле, и тут Маркс чувствовал себя как рыба в воде.

Прудон совершенно не понял гегелевского диалектического метода. Он продолжал держаться уже реакционной в то время стороны этого метода, согласно которой мир действительности выводится из мира идей. И он совершенно отрицал революционную сторону диалектического метода: самодейственность идеи, которая сначала утверждается, а потом отрицается своей противоположностью и выявляет в этой борьбе высшее единство; оно же упраздняет противоречивую форму той и другой, сохраняя материальное содержание обеих. Прудон, напротив, различал в каждой экономической категории хорошую и дурную сторону и таким образом искал такого синтеза, такой научной формулы, которая уничтожала бы дурную сторону и оставляла в неприкосновенности хорошую. Буржуазные экономисты, казалось ему, подчеркивают хорошую сторону, социалисты выступают с обвинительным актом против дурной стороны. Сам же он со своими формулами и синтезами мнил себя стоящим в одинаковой мере выше как буржуазных экономистов, так и социалистов.

В ответ на такую претензию Маркс говорит: «Господин Прудон льстит себя надеждой, что он дал критику не только политической экономии, но и коммунизма – на деле же он стоит ниже обоих. Ниже экономистов он стоит потому, что в качестве философа, который всегда имеет под рукой подходящую магическую формулу, он считает возможным освободить себя от необходимости разбираться в экономических частностях. Ниже социалистов он стоит потому, что у него нет ни достаточно проницательности, ни достаточно мужества, чтобы подняться, хотя бы только умозрительно, над буржуазным горизонтом. Он считает, что достиг синтеза; на деле же он пришел только к сложному заблуждению. Он мнит, что в качестве мужа науки витает над пролетариатом и буржуазией; между тем он только мелкий буржуа, который постоянно колеблется между капиталом и трудом, между политической экономией и социализмом». При этом не надо забывать, конечно, что, называя Прудона мелким буржуа, Маркс не хотел этим сказать, что считает его просто ограниченным мещанином. Маркс всегда видел в Прудоне человека с головой и только утверждал, что представления этого человека никак не могут выйти за пределы мелкобуржуазного общества.

Марксу было не трудно раскрыть неправильность применяемого Прудоном метода. Если произвольно разрезать диалектический процесс, разделив его на хорошую и дурную стороны, если одну категорию изобразить простым противоядием против другой категории, то идея становится совершенно безжизненной. Она перестает функционировать, и ее невозможно более ни утверждать, ни разлагать на категории. Как подлинный ученик Гегеля, Маркс знал, что та дурная сторона, которую Прудон хотел всюду истребить, делает историю, ибо она вызывает борьбу. Если бы человечество поставило себе задачей искоренить только темные стороны феодализма – крепостное право, привилегии, анархию и сохранило бы его привлекательные стороны – патриархальную жизнь городов, процветание сельскохозяйственной промышленности, развитие ремесел в городах, – это уничтожило бы все элементы, которые вызвали на борьбу, задушило бы в зародыше буржуазию. Этим поставлена была бы абсурдная задача: зачеркнуть ход истории.

Маркс верно поставил проблему в следующих словах: «Если мы желаем правильно понять сущность феодального производства, мы должны рассматривать его как способ производства, основанный на антагонизме. Нужно показать, каким образом в рамках этого антагонизма производились богатства, каким образом параллельно борьбе между классами развивались производительные силы, каким образом один из этих классов, олицетворявший дурную

сторону, отрицательные черты общественного строя, непрерывно рос вплоть до того момента, когда созрели материальные условия его освобождения». Тот же самый исторический процесс Маркс проследил и на ходе развития буржуазии. Производительные отношения, в которых она развивается, не просты и не единообразны, а сложны и двойственны. В рамках этих отношений одновременно накапливаются и богатства, и нищета. В той же мере, в какой развивается буржуазия, в недрах ее развивается и пролетариат, и вслед за тем между этими двумя классами возникает борьба. Экономисты являются теоретиками буржуазии, коммунисты и социалисты – теоретиками пролетариата. Эти последние остаются утопистами и выдумывают из головы все-спасающие рецепты до тех пор, пока пролетариат еще недостаточно развит, чтобы конституироваться как класс, до тех пор, пока производительные силы недостаточно развились в рамках буржуазного общества и не стали обрисовываться материальные предпосылки, необходимые для освобождения пролетариата и со здания нового строя. «Но по мере того, как история идет вперед, борьба пролетариата приобретает все более и более ясный характер, и для социалистических теоретиков становится излишним выдумывать науку из своей собственной головы. Они должны только дать себе отчет в том, что происходит у них перед глазами, и стать выразителями этого процесса. Пока они заняты только наукой и сочиняют системы, пока борьба еще только в самом начале, они видят в нищете лишь нищету и не замечают в ней революционизирующей стороны, той, которая выбросит за борт весь старый строй. С этого же момента наука, являющаяся продуктом исторического движения, сама вполне сознательно присоединяется к нему; она сбрасывает доктринерскую оболочку и становится фактом революции».

Для Маркса экономические категории – только теоретическое выражение, только абстракция общественных отношений. «Общественные отношения находятся в тесной связи с состоянием производительных сил. Новый приток производительных сил ведет к изменениям в способах производства; по мере того, как меняются способы добывания средств к жизни, меняются и все общественные отношения... Но те самые люди, которые устанавливают общественные отношения, сообразно материальным условиям производственной жизни, вырабатывают и принципы, идеи, категории сообразно общественным отношениям». Буржуазных экономистов, которые любят говорить о «вечных и естественных учреждениях» буржуазного общества, Маркс сравнивает с теми правоверными богословами, которые считают только свою собственную религию откровением Божиим, а всякую другую – простым измышлением досужего человеческого ума.

Несостоятельность прудоновского метода Маркс доказывал далее на целом ряде экономических категорий, к которым пытался применить этот метод Прудон. Сюда относятся: вопрос о разделении труда и роли машин, о конкуренции и монополии, о земельной собственности и земельной ренте, о стачках и рабочих коалициях. Разделение труда, в противоположность мнению Прудона, не экономическая, а историческая категория, и в различные периоды истории оно принимало различные формы. Необходимой предпосылкой разделения труда, по смыслу того, что говорят буржуазные экономисты, является фабрика. Но фабрика, вопреки предположению Прудона, возникла не в результате дружеского соглашения между товарищами по труду и даже не в порах старых цехов; хозяином современной фабрики стал не цеховой мастер, а предприниматель-купец.

Конкуренция и монополия являются, таким образом, категориями общественными. Конкуренция не промышленное, а торговое соревнование; борьба происходит не вокруг продукта, а вокруг прибыли. И поэтому конкуренция, вопреки мнению Прудона, отнюдь не является свойством человеческой души. Порожденная историческими потребностями в XVIII в., конкуренция отлично может исчезнуть в XIX, в результате новых исторических потребностей.

Столь же ошибочно мнение Прудона, что происхождение земельной собственности обусловлено не экономическими причинами, а кроется в мотивах психологического и морального характера, стоящих в очень отдаленной связи с производством материальных благ. Земельная

рента, говорит Прудон, имеет задачей связать человека более крепкими узами с природой. «Но собственность развивалась совершенно различно в различные исторические периоды, и развитие это происходило при совершенно разных общественных отношениях, – отвечает на это Маркс. – Чтобы объяснить происхождение буржуазной собственности, необходимо объяснить все общественные отношения, в которых протекает буржуазное производство. Кто объявляет собственность какой-то независимой, самодовлеющей категорией, тот впадает в метафизическую или юридическую иллюзию». Земельная рента, то есть тот приток, который получается после того, как издержки производства и обычная прибыль и проценты на капитал вычтены из цены продукта, произведенного на данной единице земельной площади, возникла и могла возникнуть только при определенных общественных отношениях. Земельная рента – это земельная собственность в ее буржуазной форме; это феодальная собственность, подчинившаяся условиям буржуазного производства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.